

А. Даманская
НА ЭКРАНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Вступительная статья, публикация
и комментарии О.Р. Демидовой

Августа Филипповна Даманская (псевд. А.Вершинина, А.Д-ская, А.Мерич, А.Филиппов¹, 1875-1959) — поэтесса и прозаик, драматург, литературный критик, журналистка, переводчица. Даманская переводила с пяти европейских языков; она была первой русской переводчицей Романа Роллана²; в ее переводах русская публика знакомилась с произведениями Джемса Барри, Арнольда Беннета, Бернгарда Келлермана и многих других западноевропейских писателей³. «Совокупность трудов А.Ф. Даманской как переводчицы столь внушительна, что едва поддается обозрению: тут дело целой жизни. *Сорок пять томов*, переведенных с французского, немецкого, английского, итальянского, польского языков: целая полка книг», — писал Андрей Левинсон в статье, посвященной вечеру писательницы⁴.

Августа Филипповна Даманская родилась 28 июля (ст. ст.) 1875 в селе Попелюхи Подольской губернии⁵. Сведения о ее жизни до 1920 весьма скудны и нередко противоречивы. Окончила гимназию в Одессе⁶; после

¹ Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов. Т.4. М., 1960. С.156.

² Ее переводы вошли в десяти томное издание «Жана Кристофа» ([Пг.]: Петроградский совет рабочих и красноармейских депутатов, 1918-1923). См. также прим. 14 к тексту воспоминаний.

³ Барри Д. Белая птичка / Пер. А. Даманской // Летопись. 1917. №1-6; То же. Пг.: Изд-во «Парус», 1918; То же. Пг.: Государственное изд-во, 1922 (Всемирная литература. Вып.49); То же. Берлин: «Огоньки», 1923; Беннет А. Святая любовь / Пер. с англ. А. Даманской // Современный мир. 1912. №10-12; То же. М.: «Польза»; «В.Антик и К°», 1913; То же. 1913-1915; То же. М.: «Универсальная библиотека», 1918; Келлерман Б. Идиот / Пер. А. Даманской // Келлерман Б. Собрание сочинений: В 4 тт. Т.1. СПб.: «Прометей», 1913; То же. Л.: «Мысль», 1925; То же. 1927; Келлерман Б. Море. М.: «Польза»; «В.Антик и К°», 1911; Келлерман Б. Туннель / Пер. с нем. А. Даманской и З.Журавской. СПб.: «Прометей», 1913.

⁴ Левинсон А. А.Ф. Даманская: К вечеру писательницы 2 марта // Последние новости (Париж). 1927. 17 февраля. №2157. С.3.

⁵ Используются биографические данные из архива П.В.Быкова (РНБ. Ф.118. Ед.хр.70). В анкете для «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» С.А.Венгерова Даманская указала, что родилась в 1877 (ИРЛИ. Ф.377. Оп.6. Ед.хр.1280).

⁶ The Bakhmeteff Archive for the History and Cultures of Russia and Eastern Europe at Columbia University (BAR). Damanskaia. Box 2. File 1. В анкете из собрания Венгерова — «образование домашнее» (ИРЛИ. Ф.377. Оп.6. Ед.хр.1280).

неудавшейся попытки устроиться на службу в 1892 по настоянию родных вышла замуж за врача⁷ (вероятно, Хаима Бенциановича Диманта⁸) и переехала в Петербург. В первый год замужества «очень увлекалась анатомией и мечтала о лекарских курсах; потом изучала, и с большим усердием, музыку, драматическое искусство»⁹, однако не сделалась ни музыкантшей, ни актрисой.

В своих воспоминаниях, написанных в последний год жизни для Бахметевского архива, Даманская рассказывает о посещениях «пятниц» Я.П.Полонского, где она познакомилась с Д.С.Мережковским, З.Н.Гиппиус, В.В.Розановым, Поликсеной Соловьевой¹⁰. «Пятницы» «решили судьбу» Даманской: с 1900 начинается ее литературная деятельность¹¹. В 1900-1917 Даманская сотрудничала не менее чем в двадцати российских периодических изданиях; ее стихи, очерки, рассказы и переводы печатались в «Петербургской жизни», «Биржевых ведомостях», «Научном обозрении», «Мире Божьем», «Русских записках», «Вестнике иностранной литературы», «Приднепровском крае», «Аргусе», «Образовании» и других столичных и провинциальных газетах и журналах¹².

Сама Даманская считала началом своей литературной карьеры 1903 год, когда она «начала работать в основавшейся тогда "Руси" за подписью А.Филиппов»¹³, и когда ее рассказ «В Америку» (Русское богатство, 1903. №12) был отмечен критикой. «В XII книжке "Русского богатства" г-жа А.Даманская дает ряд картин из еврейской жизни, — писал Юлий Айхенвальд. — Печальна и голодна эта жизнь, и кто может, спешит уйти от нее, хотя бы в Америку. /.../ Произведение г-жи Даманской заключает в себе много жизненной правды; фигуры, и главные, и второстепенные, очерчены довольно живо. Но автор не удержался и от сочинительства, — особенно в описании грез столера Мейера: не мало беллетристики в его восхищении красотой богатой жизни, — книгой звучат его рассказы об ожидающем его "голубом море, которое поет день и ночь", о "пенящихся водах", звездах-алмазах, душистых цветах»¹⁴. Айхенвальд первым подметил сильные и слабые стороны

⁷ См. недатированное письмо Даманской Быкову: «Близкие мои решили тогда, что мне ничего не остается, как выйти замуж. Что я и сделала» (РНБ. Ф.118. Ед.хр.1220. Л.1).

⁸ См.: Российский медицинский список, изданный Медицинским Департаментом Министерства Внутренних Дел, на 1891. СПб., 1891. Имя мужа не указано в воспоминаниях Даманской, мемуаристка лишь сообщает, что он был думским врачом. Подтверждения последнему обнаружить не удалось. Фамилия Даманской по мужу указана в анкете из собрания Венгерова.

⁹ РНБ. Ф.118. Ед.хр.1220. Л.1.

¹⁰ BAR. Damanskaia. Box 2. File 1.

¹¹ Литературным дебютом Даманской, вероятно, было стихотворение «Поэзбытых песен эхо...», опубликованное в «Петербургской жизни» (1900. №404. С.3251). Более ранних публикаций обнаружить не удалось.

¹² См. картотеку А.Д.Алексеева в ИРЛИ.

¹³ РНБ. Ф.118. Ед.хр.1220. Л.1об.

¹⁴ А[йхенвальд Ю.] Журнальное обозрение // Русская мысль. 1904. №2. Отд. II. С.195-196. См. также прим. 6 к тексту воспоминаний.

дарования начинающей писательницы: наблюдательность, точность изображения, умение тонко передать настроение — но и «сочиненность», растянутость описаний, приверженность к штампам. Даманская была признательна Айхенвальду за лестную, по ее мнению, оценку рассказа. К сожалению, рецензия положила начало своего рода стереотипу: впоследствии критики неизменно порицали писательницу за «склонность к прилагательным»¹⁵ и за то, что «главное, суть остается в тени»¹⁶, хотя и признавали обаяние ее «мягкого и симпатичного таланта». «Г-жа Даманская /.../ посвятила свое дарование /.../ проходящим настроениям, которые она рисует, не углубляясь, мимоходом, вскользь. Сюжеты ее рассказов неизменно приурочены к беглым встречам, к случайным, мимолетным отношениям. /.../ В них нет глубины, нет захватывающей силы, и все проникнуто каким-то смутным женственным или, как любит выражаться сам автор, "радостно-печальным" настроением»¹⁷.

Одним из немногих, кто отказался от сложившегося стереотипа, был Георгий Адамович. «Область Даманской — "маленькая жизнь", а не великие страсти и великие преступления. В этой маленькой жизни она видит самое значительное — душу человека», — писал он в рецензии на сборник ее рассказов «Жены» (Париж, 1929)¹⁸.

Как переводчик Даманская обращалась в основном к роману и повести; в ее оригинальном творчестве преобладают рассказ и очерк¹⁹. Вероятно, выбор жанра был обусловлен не только особенностями дарования писательницы, но и практикой газетной и журнальной работы. Не случайно Адамович назвал рассказы Даманской «моментальными фотографиями», сравнив их с «записной книжкой /.../ внимательного и умного наблюдателя»²⁰.

Тема большинства рассказов Даманской — несложившаяся женская судьба. Действие происходит в Петербурге («Однажды»), в родовом имении («Панна Теофилия»), в дороге («Проездом»), но чаще всего — в одном из европейских пансионатов для иностранцев («Фен», «Письмо», «Синьора Морелло», «Стеклянная стена» и др.), где героини ведут оди-

¹⁵ Кранихфельд В. А. Даманская. Рассказы // Современный мир. 1908. №9. Отд. II. С. 70, 72.

¹⁶ П. Ш. А. Даманская. Стеклянная стена // Руль (Берлин). 1921. 13 ноября. №302. С. 10.

¹⁷ Кранихфельд В. Указ. изд. С. 70.

¹⁸ Адамович Г. «Жены» А. Даманской // Иллюстрированная Россия (Париж). 1929. №39. С. 8.

¹⁹ При жизни Даманской были изданы четыре сборника ее рассказов (Рассказы. М.: «Основа», 1908; Где-то там... Пг.: «Жизнь и знание», 1918; Стеклянная стена. Пг.: «Жизнь и знание», 1918; То же. Берлин: «С.Ефрон», 1921; Жены. Париж, 1929), памфлет «Картонные домики советского строительства» (Берлин: «Тип. Neue Zeit», 1921), книга очерков «Радость тихая» (Париж, 1929), повесть «Вода не идет» (Берлин: «Грани», 1922) и роман «Миранда» (Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1953). Посмертно ее произведения не переиздавались.

²⁰ Адамович Г. Указ. изд. С. 8.

нокую жизнь, почти утратив надежду на счастье. В основе сюжета — мимолетная встреча, случайное знакомство, обманутые ожидания. Несомненна автобиографичность многих рассказов: после разрыва с мужем²¹ Даманская в 1900-1910-х подолгу жила в недорогих пансионах в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, воспитывая больного сына²² и зарабатывая на жизнь журналистикой и переводами.

В годы войны Даманская выезжала из России лишь однажды, летом 1915, чтобы забрать из Швейцарии больного сына. Пришлось ехать кружным путем через Стокгольм, Берген, Нью-Касл, Лондон, Париж. В Англии она встречалась с П.А.Кропоткиным²³.

После возвращения писательница жила в Царском Селе и Петрограде, много ездила по провинциальным городкам как корреспондент различных газет.

К Февральской революции отнеслась скептически, считая любой социальный переворот губительным для культуры²⁴. Однако долг честного журналиста не позволял ей стоять «в стороне от схватки»²⁵: летом и осенью 1917 в эсеровской газете «Воля народа» печатались очерки

²¹ Обстоятельства семейной жизни Даманской полностью прояснить не удалось; сама она указывает в воспоминаниях, что в 1910 ее личная жизнь «невесело осложнилась» (см. мемуар «О том, что не забывается» данной публикации), тогда как в письме М.Мельгунова в Литературный фонд от ноября 1902 указано, что Даманская «в разезде с мужем» (ИРЛИ. Ф.155. 18 ноября 1902).

²² Даманский Борис (1896-1919 или 1920?); в упомянутом письме Мельгунова сообщается: «на руках у нее шестилетний ребенок». Даманская неоднократно обращалась в Литературный фонд за средствами на лечение и воспитание ребенка (ИРЛИ. Ф.155. 12 января 1909, 23 марта 1909, 3 января 1911, 19 июля 1911, 11 августа 1911, 22 августа 1911, 2 апреля 1912, 18 декабря 1912, 20 мая 1913, 21 июля 1914). Возможно, сын был внебрачным; в пользу этого предположения свидетельствует то, что он носил фамилию матери, а также то обстоятельство, что Литературный фонд удовлетворял просьбы Даманской, что не было бы возможно, если бы отец ребенка по закону обязан был содержать его.

²³ Эту встречу Даманская описала в своих воспоминаниях; именно Кропоткин «открыл» ей Дж.Барри, чью книгу «Белая птичка» она впоследствии перевела (BAR. Damanskaia. Vox 2. File 3).

²⁴ См. ее письмо В.С.Миролюбову, написанное весной 1917: «Лед, который сейчас шуршит на Неве, волнует меня больше всех митингов и споров. /.../ Я была недавно на одной лекции о литературе вчерашнего и завтрашнего дня. Лектор — приват-доцент Коган убеждал, что до сих пор литература не имела никаких общих связей с массой, с пролетариатом и потому оказалась вне жизни и, стало быть, ненужной /.../ — стало быть, все творчество, все муки двух поколений писателей, поэтов — под один знаменатель... нулевой. /.../ Я жила почти во всех странах Европы, жила на Капри, видела так много людей и знаю, что основное, человеческое не меняется от режима и от состава кабинета министров. И знаю, что везде несколько искренних, жаждущих облегчить жизнь ближнему, идут рабски за честолюбцами, за фанатиками, за беспощадными утвердителями догмы. — И ни к одной из этих групп человеческих я не примыкаю» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.34об, 35об.).

²⁵ «И нет у меня внутреннего оправдания тому, что я не участвую в общественной работе, как у больших, у настоящих художников» (Там же. Л.34об.).

Даманской об отношении к революции в провинции, о подготовке к выборам в Учредительное собрание²⁶.

Октябрьский переворот оправдал худшие опасения Даманской, но первое время она, как и многие, пыталась приспособиться к новым условиям, возможно, надеясь на скорое падение новой власти²⁷. В 1918-1920 сотрудничала во «Всемирной литературе»²⁸, весной и летом 1920 «занималась с арестованными проститутками и спекулянтками, интернированными в Трудовой Колонии на Станции Разлив под Петроградом»²⁹. Вероятно, решение бежать из России окончательно сложилось к весне 1920³⁰. В июле Даманская добилась от Педагогического института командировки в Псков, откуда рассчитывала уйти в Ревель. До начала августа читала лекции по зарубежной литературе и преподавала французский язык на летних курсах для народных учителей, по окончании которых, переодевая деревенской бабой, без паспорта, пешком добралась до пограничной деревушки Мижуги и перешла эстонскую границу. После домашнего ареста в Печорах Даманской удалось попасть в Ревель.

Как и многие, Даманская покидала Россию «не навсегда», рассчитывая скоро вернуться. На юге России оставалась ее мать, в Москве — сестра с маленькими детьми, в Кисловодске — другая сестра, признавшая новую власть (врач по профессии, она «ведала казенную лечебницу») ³¹.

В Петрограде оставались друзья. Все эти родственные и дружеские связи, по мнению Даманской, «налагали /.../ некие обязательства», и она

²⁶ См., например, «Предвыборный митинг (Письмо из глуши)» (30 июля. №79. С.2), «Однокровный» (13 августа. №91. С.2). См. также письмо Миролюбову из Могилева (конец сентября — начало октября 1917): «Я хотела бы только провести несколько беседований с пригородными бабами о выборах в Учредительное собрание и числа 3-4 октября уехать» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.36). Сотрудничество в «Воле народа» Даманская объясняла в письме Миролюбову (1917): «Если я так настойчиво добиваюсь удовольствия быть напечатанной в "Воле народа", то потому лишь, что хочу связать себя с какой-либо общественной группой, которая мне симпатичнее других» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.46). Возможно, определенную роль сыграло и давнее знакомство с В.М.Черновым.

²⁷ О жизни в Петрограде в 1917-1920 Даманская рассказала в «Карточных домиках советского строительства».

²⁸ См.: «Издательство "Всемирная литература". Перечень выполненных работ и счета сотрудникам и авторам» — ЦГАЛИ (СПб.). Ф.46. Оп.1. Д.1.С.85-88; Д.26. С.39. Даманская оставила воспоминания об издательстве и своей работе в нем (BAR. Damanskaia. Box 2. File 1).

²⁹ Карточные домики советского строительства. Указ. изд. С.7.

³⁰ Ср. письмо Миролюбову из Эстонии от 27 августа 1920: «Я много-много колебалась и думала о том, имею ли я право бежать с родины — хотя бы и оскверненной, изуродованной, оплеванной; меня долго мучил вопрос — хорошо ли я делаю, унося на чужбину мои скромные знания и мою работоспособность. И после долгих колебаний и мучений получился в душе ответ, что это самое честное, что я могу сделать /.../ Я убедилась, что ниточки, к[от]орая связала бы меня с современной русской действительностью, мне не найти. Она мне слишком чужда» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.70б.).

³¹ Даманская А. Берлин. 1920-1923 — BAR. Damanskaia. Box 2. File 3. Сведений о судьбе родственников Даманской обнаружить не удалось.

«эти обязательства применяла и к себе самой»³². Прежде всего необходимо было рассказать правду о том, что происходит в России. Даманской удалось пронести через границу (защитыми в одежду) много заметок, и по этим заметкам она составила доклад «Карточные домики советского строительства», который прочла сначала в Ревеле, затем в Юрьеве. В Ревеле же началось ее сотрудничество в эмигрантской печати: Даманская писала литературные заметки, рассказы, театральные рецензии, иногда передовые статьи для газеты Чернова «Народное дело». Газета, по воспоминаниям Даманской, «нужна была ему и Керенскому не для просвещения русских читателей в Ревеле, а для другой, более важной задачи, а задача эта была наивозможно скорейшее свержение советской власти»³³.

Вскоре Даманской при помощи И.В.Гессена³⁴ удалось получить немецкую визу, и в ноябре она выехала в Берлин³⁵. Берлинский (ноябрь 1920 — сентябрь 1923) и последовавший за ним парижский периоды жизни подробно описаны Даманской в воспоминаниях³⁶. Жила она уединенно, по необходимости поддерживая старые и заводя новые знакомства³⁷, но ни с кем близко не сходясь; как и прежде, зарабатывала на жизнь пером. К помощи общественных фондов обращалась редко — ей казалось «ззорным принимать общественную помощь, имея возможность своим трудом покрывать свои расходы. Из вывезенных из России красивых чувств еще оставалась — гордость»³⁸. Правда, с годами это чувство «постепенно замирало», однако до конца жизни Даманская предпочитала «сама платить за свой обед»³⁹.

Даманская сотрудничала во многих эмигрантских изданиях: в уже упоминавшемся «Руле», в «Днях» А.Ф.Керенского (1921-1928), в «Последних новостях» П.Н.Милюкова (1920-1940), в рижской «Сегодня» (1919-1940), в пражской «Воле России» (1920-1921), в берлинском «Голосе России»⁴⁰, в русских газетах Софии, Бухареста, Нью-Йорка, Харбина. Писала рецензии, заметки о новинках европейской литературы, путевые очерки⁴¹. Издавала старые переводы и переводила новые книги по заказам

³² BAR. Damanskaia. Box 2. File 2.

³³ Там же.

³⁴ Гессен Иосиф Владимирович (1866-1943) — юрист, публицист и общественный деятель, в 1920-1931 редактор газеты «Руль» (Берлин).

³⁵ Даманская прибыла в Берлин 20 ноября 1920.

³⁶ BAR. Damanskaia. Box 2. Files 2-9. Подготовлены к публикации в «Новом журнале» (совместно с М.И.Раевым).

³⁷ В 1923 она была членом Правления Союза русских переводчиков в Германии. См.: Новая русская книга. 1923. №2 (февраль). С.40.

³⁸ BAR. Damanskaia. Box 2. File 2.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Газета начала выходить в конце 1921 как «внепартийное» издание, некоторое время редактором ее был С.Л.Поляков-Литовцев, однако вскоре издание перешло к эсерам.

⁴¹ Публикации Даманской в эмигрантских периодических изданиях учтены в картотеке А.Д.Алексеева (ИРЛИ).

эмигрантских издательств⁴². На собственное творчество времени почти не оставалось, и это причиняло Даманской немало страданий на протяжении всей ее — не только эмигрантской — жизни. Она считала себя прежде всего писательницей и, сознавая, насколько скромно ее дарование, все же надеялась создать что-нибудь «настоящее», если бы судьба наконец улыбнулась ей. Еще в 1912 она писала Ф.Д.Батюшкову: «Мне все еще кажется, что я могу сделать что-то, а годы уходят, и с ними силы — в самой томительной борьбе. Чуть закружится что, и забота приглушает это. /.../ Если бы нашелся человек, который дал бы мне возможность поработать 6-8 месяцев хотя бы в относительной обеспеченности»⁴³. В письме к Миролубову Даманская сравнивает себя с верующим, которому помолиться некогда. «Вечно во мне что-то бродит, и я знаю, что это вовсе не мелкое и не дурное, и, как торгош, топчусь подле храма, а войти в него не могу, и некогда с моим ларем — переводами, заметками и всяким вздором»⁴⁴.

Собратья же по перу видели в ней, главным образом, журналистку и переводчицу. Даманская знала об этом и неизменно пыталась переубедить тех, чьим мнением дорожила. Одним из них был А.Г.Горнфельд, которого Даманская почитала как своего учителя в литературе⁴⁵ и с которым ее связывали годы долгой дружбы. «Вы меня всё "уничтожительно" спрашиваете, что я перевожу, а не что я пишу, — писала она Горнфельду из Парижа. — А я пьесу кончила, и очень ее хвалят, а в "Современных записках" так похвалили, что даже дерзостно присовокупили: не ожидали, мол, от меня и т.д.»⁴⁶.

Отношения с коллегами складывались у Даманской непросто. Причин тому более чем достаточно: горячий, неуступчивый характер, неуживчивость, старые обиды, тяжелые условия эмигрантской жизни. Возможно, одной из главных причин было то, что Даманская сотрудничала в изданиях различной политической ориентации, поскольку не признавала «партийности», «клановости» в литературе и журналистике, справедливо полагая, что между черным и белым существует множество оттенков, которые «должен воспринимать честный эмигрантский глаз»⁴⁷. Подобная позиция далеко не всем была по душе. И то, что Михаил Осоргин считал безусловным достоинством («Даманская /.../ в литературу не вносит политики»⁴⁸), не могло не вызывать раздражения у Бориса Савинкова.

⁴² Даутендей М. Письма-сказки с о-ва Явы. Берлин: «С.Ефрон», 1922; Де Костер Ш. Фламандские легенды. Берлин: «Грани», 1923; Шторм Т. Иммензее. Берлин: «Грани», 1922; Гобино А. Возрождение: Исторические сцены. Берлин: «Нива», 1924.

⁴³ ИРЛИ. Ф.155. (Письмо от 30 апреля 1912).

⁴⁴ ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.110б. Письмо не датировано.

⁴⁵ См. мемуар «О том, что не забывается» настоящей публикации. К Горнфельду написаны последние письма из Пскова (от 31 июля и 8 августа 1920) перед уходом из России. РНБ. Ф.211. Ед.хр.1306.

⁴⁶ РНБ. Ф.211. Ед.хр.1306. Письмо от 3 сентября 1924. Речь идет о пьесе «Дом № 17-й», которая была переведена на итальянский язык и поставлена во флорентийском театре «Dei Fidenti».

⁴⁷ Письмо Миролубову от 28 янв. 1926. (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.26).

⁴⁸ Осоргин М. Ей и о ней // Дни (Париж). 1928. 18 марта. №1362. С.3.

«А Даманская-то — эсерка, строчит у Керенского!» — ехидно восклицал он⁴⁹. Савинкову вторил А.В.Амфитеатров: «Вот до чего распустили журналистику нынешние удивительные времена: Августа Филипповна пикать дерзает!»⁵⁰

По меткому замечанию того же Осоргина, Даманская так много писала о других, что считалось естественным редко и мало писать о ней⁵¹, к тому же немногим критикам удавалось написать о ней объективно. А между тем она была замечательным журналистом и редким тружеником, умевшим «не переходить на личную почву и не превращать пера в дамскую шпильку»⁵². На протяжении многих лет она не изменяла тому, что считала своим долгом, день за днем честно и по возможности беспристрастно фиксируя мельчайшие подробности эмигрантской жизни.

Августа Филипповна Даманская умерла 27 января 1959 под Парижем⁵³, в старческом доме. Незадолго до смерти она закончила свои мемуары «На экране моей памяти». Жизнь ее не была легкой, и в мемуарах немало горьких страниц, однако в них нет того, чем, к сожалению, нередко грешат произведения подобного рода. В воспоминаниях Даманской, при всей их субъективности, нет излишней драматизации событий и сведения личных счетов. Она не жалуется на судьбу, подчеркивая, что не ей одной, а «многим сотням» выпали на долю тяжкие испытания. Она с неизменной благодарностью вспоминает друзей и прощает врагов.

Публикуемые тексты представляют собой вставные новеллы (Даманская называла их интермедиями), входящие в состав основного корпуса мемуаров, хранящегося в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Тексты приведены в соответствие с правилами современной орфографии, конъектуры заключены в квадратные скобки, купюры обозначены знаком /.../. Встречающиеся в тексте ошибки и неточности оговорены в примечаниях.

Публикатор выражает благодарность фонду IREX за грант, предоставленный для работы в американских архивах, и благодарит Б.Л.Бессонова, А.И.Добкина, Л.Ф.Капралову, В.Б.Кудрявцева, Н.А.Хохлову, В.Н.Чувакова за помощь в биографических разысканиях и подготовке комментария.

⁴⁹ Письмо Амфитеатрову от 7 февраля 1924. Цит. по: Амфитеатров и Савинков: Переписка 1923-1924 / Публикация Э.Гарэтто, А.И.Добкина, Д.И.Зубарева // Минувшее. Вып.13. М.; СПб., 1993. С.129.

⁵⁰ Письмо Савинкову от 4 февраля 1924. Поводом стала рецензия Даманской на роман Савинкова «Конь Вороной», опубликованная в «Днях» (1924. 13 января. С.6). Цит. по: Минувшее. Вып.13. Указ. изд. С.126.

⁵¹ Осоргин М. Ей и о ней. Указ. изд.

⁵² Там же.

⁵³ Чуваков В.Н. Русский зарубежный некрополь (1917-1967). М., 1967. Машинопись. ИРЛИ.

Не только на чужбине, где так далеки друг от друга когда-то давно люди одного интеллигентного круга, часто встречавшиеся, имевшие возможность обмениваться своими думами, но, вероятно, и там, на родине, мало уже осталось людей, в которых воспоминания людей моего возраста могли бы найти живой и сочувственный отклик...

И только разве на бумаге можно еще воспроизвести впечатления молодости, сыгравшие более или менее значительную роль на дальнейшем жизненном пути... Ну как поймет «чужой» или не очень близкий по духу человек тот душевный трепет, то замирание сердца, с каким пятьдесят лет тому назад никому не известная, только-только начинающая писательница могла решиться отнести первый свой большой рассказ в редакцию «Русского Богатства»¹...

В редакцию журнала самого либерального, самого передового журнала, к которому были так близки Короленко — властитель дум тогдашней молодежи, или поэт, не большой и не очень даровитый, но известный своей политической стойкостью, в глазах высших властей — неблагонадежностью, Мельшин-Якубович, в тюрьмах, в ссылке проводивший лучшие свои годы, такие «тузы» прогрессивной русской общественности, как Николай Федорович Анненский, А.В.Пешехонов, В.Мякотин и главный редактор литературно-художественного отдела Аркадий Георгиевич Горнфельд, труды которого о «муках слова» и о художественном творчестве молодыми писателями воспринимались с таким же пиететом, как заветы Белинского²... Сколько отчаянной отваги надо было иметь в себе для того, чтобы отнести рукопись в эту редакцию «Русского Богатства», зная, что примет ее секретарь редакции, а секретарем редакции в то время была родная сестра Веры Фигнер, еще находившейся тогда в Шлиссельбургской крепости.

Эта сестра Веры Фигнер, Кострова³ — я тщетно пыталась вычитать на ее приятном тихом лице что-то необыкновенное, что-то героическое, что утверждало бы ее родство с героиней русских революционных событий, — просто приветила меня, записала мой адрес и предложила зайти за ответом через месяц. В редакционной приемной, кроме нее, никого не было. Но помню четко — словно было это лишь пять дней тому назад — застекленные книжные шкапы, на двух письменных столах в строгом порядке папки — с рукописями, пробежало у меня в голове, — письменные принадлежности, и запомнила я также уютное потрескивание дров в шедшей от пола до потолка кафельной печи.

Центрального отопления не было еще тогда в скромных петербургских домах.

Я получила неделю спустя открытку — из трех или пяти строк. Но до сих пор еще перед моими глазами острые мелкие буквы и строки, не очень ровные и классическую каллиграфию не напоминавшие. Открытка приглашала «милостивую государыню» зайти в один из ближайших дней в редакцию. Я еще в первый раз получила открытку с обращением «милостивая государыня», что меня и рассмешило, и напугало. Мне почувствовался в ней холодок, что-то вроде предупреждения... вернут рукопись...

Этот раз меня принял уже не в редакционной приемной, а в редакционном кабинете Николай Федорович Анненский, широкий, добродушный, ласковый. Рассказ мой был принят. С оговорками — заглавие «Подорожник» по настоянию редактора литературно-художественного отдела заменено было названием «В Америку»; рассказ этот много позднее вошел в первый сборник моих рассказов⁴. Другая оговорка была уже другого характера.

— Но мы... приглашали г-жу Даманскую...

— Я и есть Даманская.

— Вы еще учитесь?

— Нет... да... я хожу на курсы Лесгафта... И музыке учусь... Я уже два года замужем⁵...

— Сколько же вам лет?

Мне было тогда 19 лет⁶. Мне давали шестнадцать. И эта моя молодость и застенчивость очень вредили мне на первых шагах моего вступления в пленительный, волшебный круг людей, казалось мне, чем-то отмеченных. У меня не было нужной важности в манерах, и я часто и, вероятно, глуповато смеялась. Это не могло импонировать. Но рассказ мой был напечатан в декабрьской книжке 1905 года, а в феврале следующего года в «Образовании» — ежемесячнике, издававшемся Л.Я.Острогорским, был хвалебный о моем рассказе отзыв Луначарского, а в «Русской Мысли» — московском ежемесячнике, по направлению идеологии столь далеко от меньшевистского «Образования», — лестная о моем рассказе небольшая статья проф. Ю.Айхенвальда⁷.

Это были насыщенные событиями годы. Печальный эпилог русско-японской войны, революция, эффектное выступление на политическую сцену авантюристов — Гапона, убийцы Столыпина Богрова, возникновение одной-другой левого толка газеты, закрытие газет, уход в подпольную работу недавно еще у всех на виду общественных деятелей, возвращение из сибирской ссылки амнистированных и самовольно освободившихся «политических» — и одновременно во внезапно возникавших кружках с ошеломля-

тельными «манифестами» новые веяния, новые лозунги... Молодым, как я, не получившим в семье политического воспитания, не успевшим подвергнуться общественно-политически-литературной дисциплине, очень было трудно избрать для себя отвечающий природным данным, темпераменту и чаяниям путь. Все увлекало, все восхищало, все пленяло — и молодые силы тратились больше на упоение, на «объедание» всякими запретными и трудно перевариваемыми плодами, от крайнего политического максимализма и до дурманной не очень внятной декадентщины и всякими утонченными, переутонченными идейно-художественными новшествами, плывшими из-за границы. И сколько способностей, дарованных природой, если не талантов, развеялись, угасли, расплылись тогда бесследно... Накипь, всплывшая тогда на разбушевавшихся волнах политических, общественных и литературных страстей, в истории русской общественности того времени известна под метким словом «огарки».

Из не призванных [ни] вершить судьбы человечества или даже только судьбу родной страны, ни создавать и утверждать новые художественные и литературные каноны уцелели в тогдашнем взбаламученном море русской жизни лишь наделенные высоко развитым чувством самосохранения и духовной цельностью, указывавшей вернейший и наиболее соответствовавший темпераменту, дарованию и искренности жизненный путь. Моим спасительным поясом была, кажется, прежде всего лень и совершенное отсутствие честолюбия, вернее, тщеславия. Благодаря моей застенчивости я казалась и гораздо глупее и невежественнее, чем была в действительности. И это понял, по-видимому, покойный теперь Виктор Михайлович Чернов⁸, предложивший мне сотрудничать в его подпольных изданиях, а не выступать с агитационными речами у наборщиков, у прачек и у трубочистов. Я помню одно мое такое выступление — в типографии газеты «Русь»⁹. Как я дрожала, и горела, и как страстно молила Бога о том, чтобы вспыхнул пожар, чтобы обрушился потолок — только бы могла я прервать мою речь и убежать, убежать, убежать...

В.М. Чернов, по-видимому, и оценил меня только как авторшу небольших статей «на лету», объективных и не скучных откликов на виденное мною и слышанное. И недаром, быть может, помянул он меня несколькими добрыми словами в вышедшей много лет спустя книге «Перед бурей» — Чеховское издательство выпустило ее уже после смерти В.М. Чернова¹⁰.

В те же годы познакомилась я с двумя людьми, в моем духовном и литературном «самоосознании» сыгравшими наиболее значительную роль. Это были Виктор Сергеевич Миролубов — изда-

тель и редактор «Журнала для всех»¹¹ и Аркадий Георгиевич Горнфельд — редактор художественно-литературного отдела в «Русском Богатстве». Миролюбов, огромного роста человек, бывший певец Миров, из-за болезни легких вынужденный оставить сцену, рыжеватый, характера раздражительного, человек, похожий лицом на Ницше, сходиллся с Горнфельдом, маленьким, хрупким, с трудом передвигавшимся на своих двух костылях, с узким бледным лицом, в сорок пять лет похожим на недоразвившегося подростка, лишь в одном: в глубокой любви к литературе, в остром интересе к малейшему проявлению в ком-либо литературного дарования. Миролюбов умел редактировать, указывать, наставлять, поощрять — сам литературным дарованием не обладал. Горнфельд вдохновлял, поощрял, окрылял; и оба они были неподкупно требовательны. Горнфельд, хотя и тяготел к прогрессивным изданиям и круг его знакомств состоял в преобладающем большинстве из людей прогрессивного и к властям оппозиционного лагеря, был, в сущности, аполитичен и к чужим взглядам гуманно-толерантен. Миролюбов, с ранней юности близкий к явным и тайным кружкам народовольцев, и в зрелые свои годы поддерживал связи с политически-левой русской общественностью. Но он был издателем своего журнала, выходившего тонкими, большого, впрочем, формата, тетрадями, и в интересах подписки и с целью наиболее широкого распространения своего журнала не чуждался и крайней литературной новизны. Был близок с Мережковскими и с Бальмонтом, казалось, скорее из любопытства — что эти дадут России, что эти внесут в русскую литературу? Пером художественно-литературным не владел, но даровитость угадывал безошибочно, что не мешало ему порою помешать в своем «Журнале для всех» рассказы среднего литературного качества, но, видимо, удовлетворявшие и среднего интеллектуального уровня читателя. «Журнал для всех» читался во всех концах России. Престиж журнала в оценке широкого круга провинциальных лево-мыслящих читателей утверждали предостережения русских цензоров, умудрившихся в каком-нибудь стихотворении Скитальца или рассказике Гусева-Оренбургского¹² усматривать угрозу существующему строю... Ко мне, явившейся к нему в первый раз с несколькими стихотворениями, из которых он напечатал одно¹³, отнесся он беспощадно, но и ласково, с какой-то отечески-нежной строгостью. Заставлял работать, переделывать и в то же время хвалил и поощрял¹⁴.

Горнфельд, сам мастер слова, автор блестящих страниц о «муках слова», о корифеях иностранной литературы, не поучал, не наставлял и даже не хвалил. Но немногими словами, какой-то

очаровательно-тонкой шуткой, осторожно-ироническим замечанием умел в начинающем авторе возбуждать самокритику, готовность все свои духовные силы связать в один узел и чего-то добиваться, для чего бы стоило жить и чем можно было бы заслужить гордое звание писателя.

Этот урод, калека был эстет, знаток и ценитель музыки, живописи, не пропускал ни одного значительного концерта, ни одной выставки. И где бы он ни появлялся, толпа зрителей, слушателей расступалась перед маленькой его узенькой фигуркой, быстро передвигавшейся на постукивавших костылях.

Я уезжала из Петербурга на юг России, уезжала за границу — моя связь с ним духовная не прекращалась. В «Русском Богатстве» были помещены несколько моих рассказов и в моем переводе два романа Ром. Роллана из серии «Жан Кристоф» и один роман Уэллса¹⁵.

В первые месяцы большевизма, когда так тревожна стала жизнь в столице, когда жутко стало по вечерам выходить, и не было ни трамваев, ни извозчиков, и электричество отпускатось скупой и лишь на короткие вечерние часы, единственной отрадой в моей одинокой тогда жизни были вечерние длительные беседы по телефону с Горнфельдом, который так же, как и я, говорил в неосвещенной комнате, как и я, в пустой квартире¹⁶.

Последнее письмо я получила от него в 1929 году из Крыма, и в этом письме он сообщал мне о кончине Александра Рафаиловича Кугеля, которого высоко ценил и любил.

Осенью 1910 года привелось мне познакомиться с В.Г.Короленко. Вот при каких обстоятельствах. Невесело осложнилась моя жизнь. Что-то надо было решить, распутать узел горестей, что-то предпринять... Слишком тяжелому для моих молодых плеч горю нужно было одиночество. Я поехала из Петербурга в близкий Сестрорецк, где, как мне известно было, пустует в это время года курортная гостиница.

В первый же или на второй день приезда я встретила в коридоре отеля как всегда оживленного, приветливого Николая Федоровича Анненского с человеком, мне не знакомым, но которого я тотчас узнала по его глазам, чудесным лучистым глазам, со всех его портретов смотревшим с внимательной и тихой лаской. Это был Короленко.

Николай Федорович приветствовал меня шумно, многословно и как-то легко, слишком легко подтрунил надо мной: «В такую ненастную осень в Сестрорецк... Вдохновляться, что ли, сюда приехали?» Короленко молчал. Я от неожиданности этой встречи и смущения тоже молчала. И в этот вечер я думала меньше о сво-

ем горе, думала больше о том, что прочитали на моем лице эти удивительные светлые глаза...

Как я догадывалась, в Сестрорецк их привело не просто желание побыть «на лоне природы», что-то более важное... Шло какое-то партийное совещание. Приезжали к ним, уезжали какие-то незнакомые мне люди. Анненский часто провожал своих посетителей на вокзал, Короленко — никогда. Я уезжала в Петербург, а когда возвращалась — меня встречал Короленко. Это сделалось как-то просто, естественно.

— Я заметил, что вы всегда нагруженная книжками возвращаетесь. А еще, как сказал мне Николай Федорович, какие-то пилюльки принимаете...

Только всего. Несколько фраз. Сердечное пожелание: «Ну, теперь отдыхайте». И мне казалось, что как-то помимо моих стараний, помимо моих мудрствований разрешается узел моих печалей.

Это было в первые дни ноября месяца. Утренние, вечерние газеты, доставлявшиеся в курортную гостиницу, полны были сообщений о болезни Толстого, о знаменитых днях на станции Астапово... И наконец — умер Толстой... О чем-то меня спросил кто-то из дирекции отеля, я ничего ответить не могла. Я выбежала на набережную, где не было ни души. Море было беспокойное, свинцово-серое. А закат медно-красный, зловеще-красный. Я опустилась на скамейку и плакала долго, долго, пока не выплакала слез, не давших душе облегчения.

В коридоре отеля я встретила Короленко. Он был бледен, как полотно, и молчалив. На меня только взглянул и провел рукою по моему плечу. Вечером того же дня они уехали из Сестрорецка. Больше я Короленко не встречала¹⁷.

Некоторое время спустя я в редакции художественного журнала «Аполлон», редакторами которого были С.К.Маковский и Е.А.Зноско-Боровский, тогда писавший только об искусстве, а теоретиком-шахматистом ставший много позднее в эмиграции, встретила брата Николая Федоровича Анненского — поэта Иннокентия Анненского¹⁸. «Это родной брат того Анненского», — шепнул мне Зноско-Боровский. Более резкую и более странную противоположность трудно было себе представить. Не говоря уже об отсутствии какой-либо родственной черты, но точно человек из другого круга, другой страны, с другой планеты. Тонкий, узкий, затянутый, будто в мундир, в длинный черный сюртук, черный шелковый галстук и словно из белого мрамора высеченный воротник, подпиравший изможденное бледное лицо... Это был чиновник — вице-директор Царскосельской гимназии, и поэт, воз-

главлявший левое крыло символистов. Автор философских и бесконечно-печальных стихов. Одно из них повторялось, как «Отче Наш», молодыми поэтами и поэтессами, которыми он всегда был окружен. Запомнилось оно и мне:

Мы на полустанке.
Мы забыты ночью
На лесной полянке
Тихой лунной ночью,
Мы забыты ночью...
Сон или воочию
Мы забыты ночью?...¹⁹

Говорили, что чтит своего брата, бывшего народовольца, редактора «Русского Богатства», что наклонности у него порочные, то, что французы называют *moeurs particuliers**, и что братья хотя и не встречаются, но нежно друг друга любят. Скончался Иннокентий Анненский, возвращаясь из редакции «Аполлона» в Царское Село, одиноко, как жил. Упал на ступеньках Царскосельского вокзала. И о кончине его близкие люди узнали не скоро²⁰...

Возвращаюсь памятью к тем годам, когда флером манившей и волновавшей романтики облечено было все, слышшее или мнившееся запретным, гонимым, рискованным, требовавшим отваги, больше, чем отваги, — жертвенной отрешенности от того, что называлось личным счастьем, или же грозило лишением свободы или даже только обыском. Грозило и перспективой зависимости от дворника, от швейцара, которые могли оказаться добровольными или платными наблюдателями за жильцами. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Провезти из Выборга в Петербург толстую пачку тоненьких страниц революционного «Труда» и там сдать туда, куда указано будет, не представляло собою большого подвига и не грозило ни Шлиссельбургом, ни Нарымом, но какой-то риск все же был в выполнении такого поручения, и так сладко было знать, что оказано доверие, несмотря на то, что тюремного стажа еще не проходила, и клички партийной не носила, и билета партийного не имела... И как лестно было выслушать из уст В.М.Чернова, что, «вот, беспокоился»... Как взвинчивало, сообщало походке легкость, шагам быстроту сознание, что вот та книжная лавка в доме Армянской церкви на Невском проспекте, где жил одно время и министр народного просвещения Делянов, для немногих не только книжная лавка, но и явочная квартира,

* Странные привычки.

такая удобная благодаря расположению четвероугольных колонн, разделявших магазин на две половины. Из-за одной колонны всегда можно было наблюдать входивших и, обладая приметам «шпики», сделать, кому надо было, условный знак, и этот «кто-то» мог из-за другой колонны незаметно уйти в боковую дверь. Так [нрзб.] сознание, что, уходя из этого книжного магазина в кондитерскую Гурмэ, я хотя и ела пирожное с таким же удовольствием и такой же маленькой ложечкой, как и другие покупатели, но только что, десять минут назад, я выполнила что-то такое, что-то такое... о чем и говорить громко не полагается, и вообще рассказывать не следует. Как поднимало в собственных глазах, что руководивший этим книжным магазином молчаливый с грустными глазами полный господин мне, едва знакомой ему посетительнице, поручил отвезти письмо в Выборг и доставить лично, в собственные руки В.М.Чернову. А жил тогда В.М.Чернов на окраине Выборга в поэтической усадьбе у прелестного озера Папула. И письмо было увезено, доставлено — без лишних слов, без комментариев, без изъявлений благодарности... Сколько было в этом завлекательной романтики, и какой, в сущности, легкою игрою было выполнение таких подвигов. Я плохо разбиралась тогда в настоящих социал-демократах о необходимости пролетаризации русской деревни, как и в статьях эсеров и самого В.М.Чернова об аграрном вопросе, о всенародном землепользовании. В В.М.Чернове мне больше всего нравилось, как он пел «Коробейников» — пел превосходно — и как читал им же переведенные стихи бельгийского поэта Верхарна²¹ — и переводил, и читал великолепно. Корифеев революционного движения в России я близко не знала. А те, которых я знала, за которыми были уже и тюремные годы, и стажи в далеких местах Сибири, для меня не были классическими героями, а просто одни более, другие менее интересными и милыми людьми. Их конспиративной подпольной работе я была тогда чужда. А второстепенные, третьестепенные партийные работники, так сказать, статисты революции, и удивляли, и смущали наивным щегольством, с каким носили свое звание «партийного работника», и еще больше беспечным легкомыслием, с каким выполняли возлагавшиеся на них поручения.

Приходит ко мне однажды молоденькая женщина — жила она тогда, так почему-то нужно было, под чужой фамилией — и просит у меня дать ей мой паспорт — свой куда-то засунула и не может найти, а поездка в Москву спешная. И она, и ее муж ничего не делали, нигде не служили, жили неопрятно и на средства, которые давала им «партия». Я, не колеблясь, дала ей свой паспорт, который она привезла мне четыре дня спустя и с пропиской в ка-

ких-то меблированных комнатах. Возвращая мне паспорт, весело сообщила: «Вам известно, конечно, что я отвезла, кому надо было, пять бомбочек. Так хорошо этот раз сошло, прелесть».

Но эта легкость и беспечность, а порою и молодое тщеславие, с какими приобщались тогда молодые люди, молодые женщины к «партийной работе», постепенно привели меня к сознанию и убеждению, что при всем моем благоговении к чужой жертвенности, к чужой вере я для таких свершений не гожусь и на риск своей или чужой свободой не способна. Все больше я проникалась сознанием, что я, быть может, в более скромной роли лучше, полнее проявлю то, что мне дано природою. И по мере того, как я не пыталась быть тем, чем я не была, я больше располагала к себе людей, которые глубоко верили в свое призвание протестовать, бунтовать, громко призывать других к протестам и бунтам и по своему разумению делать жизнь не свою только, а жизнь масс лучше, чище и красивее...

Такое ласковое расположение выказывал мне Николай Александрович Морозов, бывший шлиссельбуржец²². С ним, с его женой — пианисткой Ксенией Алексеевной Березовской — прожили в тесном соседстве несколько месяцев в финляндском пансионе в Мустамяках. Когда переехали в Петербург, бывала у них, и у них познакомилась с Верой Фигнер²³. Не забыть мне волнения, с каким я шла в этот день к Морозовым, зная, что у них встречу Веру Фигнер. Даже приделась скромнее, волосы пригладила, чтобы не похоже было, будто бы завиваюсь, и думала, обдумывала — о чем говорить в присутствии Веры Фигнер, и так было страшно — понравлюсь ли я ей...

Только Морозовым, никому другому, я отважилась сказать — и то со вступлением, с оговорками «вы меня простите, вы мне укажите на дверь, если что...», словом, только им решилась я сказать, что Вера Фигнер мне не понравилась.

Умный, много знающий, большой эрудиции и начитанности Морозов — в Шлиссельбургской крепости обрел много, чего и на свободе не добился бы, — усмехнулся — а улыбка у него, на его живом с седой бородкой лице была удивительно милая — попросил меня только уточнить, чем, почему не понравилась.

И я ответила, что она «будто икона, а не живая. Или ей нужно, чтоб люди смотрели на нее как на икону...» Меня в ней удивило, больше — поразило то, что она в свои 53 или 56 лет казалась совсем, совсем молодой. Ни морщинки, ни одной складочки на лице, ни одного седого волоса. Ни следа пудры, ни следа какой-либо косметики, ни следа какого-либо усилия сохранить, удержать молодость не было на этом лице. И я не могла не подумать —

неужели не плакали эти чистые спокойные глаза, не горело любовью, страстью, ревностью сердце этой женщины, неужели то, чем жили миллионы женщин за стенами Шлиссельбургской крепости, не задевало струн ее души, не вырывало стонов из ее уст, не ложилось бременем на ее плечи, не сгибало ей спину...

Уже много позднее я узнала о ее работе в Петербурге и в Москве. Вместе с первой женой Горького Екатериной Павловной она делала большое, важное дело: хлопотала об арестованных большевиками, о заключенных, ссылаемых, об осиротевших семьях куда-то исчезающих людей. Книга ее, отлично написанная, искренне и умно, говорила о том, что вне крепостных стен, среди живых людей и она стала живою²⁴. И доходили слухи о том, что она и внешне изменилась — время, годы и близко, близко наблюдаемое чужое горе и на нее, как на тысячи других женщин, накладывали печать.

В начале 1917 года познакомилась я и с другим шлиссельбуржцем — Германом Александровичем Лопатиным, могучим, красивым — в молодости был, вероятно, красавцем, общительным, и тоже в тесном соседстве, в Доме Писателей на Карповке²⁵. Ни разу за многие месяцы соседства в течение долгих бесед не произнесено было им слово Шлиссельбург. Ни у меня, ни у моих гостей-друзей и смелости не хватило бы заговорить с ним о Шлиссельбурге. Так живо чувствовалось всеми, что на прошлом поставлен им крест. Он жил настоящим, жадно, цепко, страстно — всем интересовался, читал запоем новых русских, иностранных писателей, посещал театры, концерты, охотно знакомился с новыми и новыми людьми, хорошо и красиво говорил, и от одного его великодушного раскатистого смеха становилось людям легко и радостно на душе.

В те же месяцы жила в Доме Писателей Вера Засулич. Как непохож был тогда ее облик на тот, какой рисовался нам в молодости по слухам, доходившим в провинцию из далекой столицы... Самоотверженная революционерка, но в сердце которой находила, однако, место и великая любовь. Ибо чем, как не любовью, внушен был ей мстительный жест — выстрел в градоначальника ген. Трепова, грубым телесным наказанием оскорбившего ее жениха, революционера, как она, студента Боголюбова²⁶.

Вера Засулич, которую я узнала в конце 1916 или начале 1917 года, была широкая, с некрасивым, маловыразительным лицом женщина, носившая деревенского покроя юбки в сборках у пояса, широкие темные кофты, и если выходила иногда за ограду Дома Писателей, то не в шляпке, а в платке, повязанном наподобие

крестьянского повойника. Она не вела знакомства ни с Лопатыным, ни с ближайшей своей по комнате соседкой Софьей Александровной Савинковой, матерью Бориса Савинкова²⁷. К ней приходили, больше по вечерам, Л.Дейч, Аксельрод²⁸, еще какие-то люди — вероятно, партийные товарищи, и принимала она их в библиотечной комнате, которую, по молчаливому всеобщему уговору, освобождали при ее появлении находившиеся там. В свою комнату — в нижнем этаже Дома Писателей, окном выходящую во двор, не видный из сада, отделявшего дом от улицы, — в эту свою комнату она никого вводить не могла. Она заселена была — кошками. По углам на свободных от ее бумаг, брошюр столиках стояли тарелочки со всякой снедью, бутылочки с молоком и с какими-то лекарствами. Кошки ее, грязные, облезлые, от которых шел «дух мерзкий», как говорила прислуга, часто хворали, и она сама их лечила. Всегда элегантно одетая Савинкова, выходя в коридор из своей отлично обставленной, нарядной комнаты, держала у лица надушенный платок и от двери, ведущей в комнату Засулич, брезгливо отворачивалась²⁹.

Куда-то я уезжала — не помню куда — на две или три недели. В день моего возвращения встретила мне жившая рядом с Домом Писателей в небольшом флигеле сестра Мякотина Варвара Александровна.

— Хотите проститься с Верой Ивановной? — спросила она меня.

— Как проститься? Почему?

— Она этой ночью умерла³⁰.

И это был единственный раз, когда я видела Веру Ивановну Засулич гладко причесанной, без повойника, умытой, чистенькой, помолодевшей и привлекательной... в маске смерти... Не помню, что помешало мне быть на ее похоронах. Узнала лишь потом, что девять ее кошек целые сутки жалобно мяукали, и очень была этим недовольна Софья Александровна Савинкова, потребовавшая после исчезновения кошек дезинфекции комнаты, в которой жила Вера Засулич.

С.А.Савинкова, такая чужая, такая чуждая Вере Засулич, была даровита, умна и красива — уже будучи пожилой — и лишь тщеславие, снобизм и, пожалуй, честолюбие, а, быть может, и непривычка к систематической дисциплинированной работе помешали ей стать настоящей писательницей. Когда тотчас после Февральской революции одновременно с Керенским предметом внимания широких русских кругов стал и дотоле «подпольный герой» Борис Савинков, мать его, упоенная славой своего сына, усердно, настойчиво стала проявлять свое умение принимать...

Быстро вошла в роль вдохновительницы революционных вождей, эгерии, старалась завоевывать сыну еще больше почитателей. Увы — роль эту не дано было ей играть долго. Надвигались события, каких не сумели предупредить вершители первой «бескровной» революции... С вершин политической русской жизни Савинков сорвался раньше Керенского.

О Керенском... Зимой 1916 года приехали нелегально из Цюриха мои давние знакомые — я знала их под той фамилией, под какой они жили за границей... Степановы. И на второй же день их приезда Степанова, немолодого уже, арестовали. Жена его бросилась ко мне — что можно предпринять? Я обратилась к одному из ближайших сотрудников «Русского Богатства».

— Обратитесь к Керенскому, — посоветовал он мне.

Я позвонила Керенскому, с которым не была тогда знакома. Сослалась на «Русское Богатство». Он ответил, что страшно занят и может принять меня лишь в двенадцать часов ночи. Я поехала с женой арестованного к нему в 12 ночи и провела у него очень приятный час... О Степанове сказано было лишь несколько слов. Выслушал, записал, сказал: «Будет сделано, что надо». А там зашла речь о японском фарфоре и об уральской керамике. У него на столе и на этажерке стояли красивые вещи, которыми я залюбовалась. Керенский охотно пояснял их происхождение, моргал воспаленными веками и нервно дергал левым плечом...

Степанов через несколько дней был освобожден как человек, вернувшийся на родину, «чтобы быть ей полезным». Больше я Керенского в России не встречала. В месяцы его взлета, ширившейся славы, шумных выступлений я была на юге России, в Подольской губернии, оттуда вернулась уже после корниловского выступления, уже перед самым трагическим эпилогом «бескровной революции»³¹.

Встретила я опять Керенского уже вне России, в Берлине, и с 1922 по конец 1928 года сначала в Берлине, потом в Париже сотрудничала в его газете «Дни». Об этом в другой раз в намеренной мною работе о тех эмигрантских газетах, к которым была близка, в которых много и часто печаталась и сотрудничество в которых считаю лучшими моими годами, наиболее насыщенными новыми интересными духовными впечатлениями, захватившими меня целиком³².

Мое сотрудничество как беллетристки в органах народовольческого, чуть ли не эсеровского толка, как «Русское Богатство» и «Журнал для всех», не мешало мне помещать рассказы и в «Современном мире» — уже с появлением в составе редакции Ник[о-

лая] Иван[овича] Иорданского принявшем явно социал-демократическую окраску³³.

Издательница журнала, в прошлом именовавшегося «Мир Божий», Марья Карловна Куприна-Иорданская, урожденная Давыдова (дочь в свое время известного виолончелиста и директора петербургской консерватории) была уже не женою Куприна, а женою Иорданского³⁴. И хотя рассказ мой «Паломники» прочтен был очень скоро и скоро тоже напечатан³⁵, но помню, что того трепета, с каким я входила когда-то в редакцию «Русского Богатства», я уже не испытывала. И чем-то не очень понравилась мне вся «атмосфера» редакции. Было шумно, очень шумно, много смеха, много шуток, и Марья Карловна — Муся, как звали ее запросто, — не успела еще как будто войти в роль редакторши серьезного журнала. Мне известно было, что разрыв с Куприным переживала она тяжело, и меня удивила покорность, с какою она прислушивалась и повторяла самоуверенные, твердые и тоном не допускавшие возражений высказывания Иорданского. Раза два-три была я на редакционных «чаях» и мне бывало там скучно...

Позднее, много позднее встретила я Иорданского в Ревеле — он был уже тогда чем-то уполномоченный советской властью³⁶, а я в Ревеле — на первом привале моего ухода из России за границу. В Ревеле, где он по своему положению и не должен был оказывать мне доброе внимание, он показался мне совсем другим, и мягким, и чем-то удрученным, и не только оказывал мне внимание, но был явно рад встрече со мною, угощал, показывал мне достопримечательности прелестного Ревеля и будто прощался со мною навсегда. Я чувствовала, что я ему напоминаю прошлое, когда он был уверен в том, что и завтра будет сидеть в своем редакторском кресле, в котором сидел сегодня, напоминала ему прошлое, которое, по-видимому, мнилось ему лучшим, нежели то настоящее, о котором он говорил пышно и неубедительно. Больше я его не встречала. С Куприным же, с талантливейшим, обаятельным Куприным, которого в России знала очень мало, я познакомилась близко в годы эмиграции и лишь на чужбине оценила всю прелесть, всю простоту этого очень духовно сложного человека. К нему я еще вернусь в моих воспоминаниях³⁷.

В июле 1920 года меня каким-то чудом включили в группу лекторов, отправлявшихся в Псков для чтения лекций учительницам сельских школ³⁸. Чудесный этот город на реке Великой, тогда разоренный многомесячным пребыванием немцев, загрязненный и обнищавший, еще полон был воспоминаний о герман-

ской оккупации и, не успев от них опомниться, очутился под новой советской властью, участи псковитян не облегчившей.

Трудно сказать, когда прекраснее Псков и река Великая — в раннее ли солнечное утро, в тихую ли звездную ночь, и много ли в Европе прибрежных холмов, которые могли бы соперничать с красотой псковского «детинца», — так называется замкнутая в высокую ограду площадь, на которой стоит Троицкий собор с службами, с помещениями для причта, с приходской школой. В 1920 году осиротелые семьи священников, ушедших в Эстонию, уже охотно сдавали комнаты приезжим из столицы, не решавшимся селиться в загрязненных гостиницах. В 1920 году местный исполком не то чтобы насильственно, но довольно настойчиво размещал в «детинце» своих людей. И в домике одной вдовой попадьи очутилась в одной половине приехавшая из Петербурга писательница, с тем чтобы из Пскова перекинуться в Эстонию, на Запад, в Европу, — а в другой половине, через сени, служащий ГПУ.

Милые музыкальные мальчишки попадьи, певшие на клиросе и подбавившие на стареньком дребезжавшем пианино аккомпанемент к духовным песням, скоро подружились с глуповатым, франтоватым служащим ГПУ и с такой же легкостью подобрали аккомпанемент к «Интернационалу». Мальчишки, девчонки за оградой «детинца» скоро стали дразнить их «советскими поповичами». И я, жившая тихо, осторожно, с оглядкой, с опаской, эту кличку использовала позднее для заглавия повести «Советские поповичи». Эта моя небольшая повесть напечатана была в выходившем с 1921 года альманахе «Граней» и переведена и напечатана в нью-йоркском альманахе «Our Fiction» и затем в швейцарском журнале «Бунд», и совсем недавно перепечатана в цюрихской газете «Zürcher See Zeitung»³⁹.

Псков был последним моим этапом в России на пути в новую жизнь. Во второй половине августа месяца того же 1920 года я была уже в Ревеле... и сразу же закружилась в вихре новых впечатлений, напряженной газетной работы и кое-каких радостей, которые не могли, однако, заглушить острой, на первых порах до физической боли острой, тоски о Петербурге⁴⁰.

В ноябре месяце я была уже в Берлине. И тут лишь вновь — и с какой молодой жадностью — приобщилась к захватывающе-интересной культурной жизни и вступила на путь ответственной и серьезной газетной работы. И от него не уклонялась уже в течение многих-многих лет.

В один июньский день 1918 года, развернув вечернюю газету, выходявшую в Петербурге при ближайшем участии А.В.Амфитеатрова, я, к большому моему удовлетворению, прочитала его очень для меня лестный отзыв о только что вышедшем сборнике моих рассказов «Стеклянная стена»⁴¹. Об А.В.Амфитеатрове, о его пестрой, многообразной жизни я знала много, его самого очень мало. Так как книгу свою я ему для отзыва не посылала, то сочла нужным пойти поблагодарить его. Я жила тогда на Карповке, он — в близком от Карповки Аптекарском переулке. Узнала его адрес — дом номер 4-й, купила несколько красивых роз и, придя к дому за номером 4-м, удивилась. Вместо обычного многоэтажного дома с подъездом, с швейцаром, — небольшой двухэтажный особняк с широкими воротами и небольшой калиткой. Открыла калитку — залаяла собака. Кто-то окликнул ее — замолкла. Кто-то спросил: «Кого угодно?» И на мой ответ: «Александра Валентиновича», — последовало приглашение: «Пожалуйста, навверх. С первой площадки лестницы направо».

Широкие, устланные ковром ступени — на первой площадке, столик, ваза с цветами, на стенах великолепные фотографические снимки — виды Италии. Навстречу мне вышел Амфитеатров — оживленный, благодушный, приветливо протянул руку, помню обе — большие, мясистые, теплые.

— А... Молодая писательница⁴².

И ввел меня в залитую солнечным светом большую комнату. Я немного опешила. Такого обилия цветов, картин, ярких тканей на окнах, такого изящного, блестящего чайного сервиза, за которым сидела жена Амфитеатрова⁴³, таких красивых, отлично одетых детей мне давно не приходилось видеть. Всё и все в этой со вкусом, почти богато обставленной комнате дышало счастьем, беспечностью. Дети — юноша-подросток замечательной красоты, теперь известный композитор Данило Амфитеатров⁴⁴, два румяных мальчика и девочка лет шести, скорее некрасивая, вылитый портрет Амфитеатрова. Девочка скоро убежала по лестнице, ведущей из другой комнаты-студии в верхний этаж, и тотчас кто-то запел, кто-то затренькал на балалайке, кто-то что-то уронил, разбил, и такой покатился оттуда заразительный смех — противостоять ему было невозможно. Посмеялись и мы. Амфитеатров напомнил мне, как не состоялось наше знакомство в Италии, откуда он уехал накануне моего приезда в Рим, не забыв, впрочем, поручить ближайшему сотруднику Бенито Муссолини в газете «Avanti» знакомить с Римом начинающую русскую журналистку⁴⁵.

Амфитеатрова, Иллариya Владимировна, мечтательно вздохнула:

— Попасть бы туда опять...

Амфитеатров ее утешил:

— Ничего, ничего, вернемся...

Недалеко от Генуи, в прибрежном поэтичном Сестри Леванто ждал их снятый на вечность дом и богатая библиотека.

Когда я стала прощаться, пригласили заходить.

Я уехала скоро на Ермоловскую, близ Сестрорецка, на дачу. События разворачивались в не всеми предвиденном масштабе — трагедия в Екатеринбурге и еще, еще, еще...

По возвращении в Петербург я узнала от одной знакомой ошеломившую меня новость: Амфитеатров объявил о продаже всего своего имущества с аукциона. Все, кроме мебели, которая ему не принадлежала⁴⁶. Аукцион, как выяснилось, был своеобразный: без оценщиков, без молотка, без «Кто больше?». На нескольких столах в двух комнатах расставлены, разложены были столовое серебро, художественные издания, столовое белье, несколько пушистых и несколько шелковых одеял, несколько ковров, безделушки с письменного и туалетного столов, несколько столовых ламп, абажуров и дамские платья. На каждом предмете лежал листок бумаги с обозначением цены.

У меня не хватило духа пойти на этот аукцион. Газета, которой руководил Амфитеатров, уже не существовала⁴⁷. Справиться о том, что побудило его объявить продажу необходимых даже в скромном обиходе вещей, не у кого было. Но стороной узнала я, что все было продано по ценам обозначенным и что владелец особняка, выселявший Амфитеатровых за неуплату долга в течение долгих месяцев, оставил их временно в нижних комнатах.

Стоял морозный ноябрьский день. Выходя из хлебного кооператива на Каменноостровском, в нескольких шагах от дома, где я жила, я столкнулась с маленькими Амфитеатровыми, с близнецами Максимом и Романом. Они несли большую корзину с мерзлой картошкой и, увидев меня, с неподдельным оживлением сообщили мне: «А знаете, мы совсем-совсем обеднели. И спим на полу, мы оба под одним одеялом. Но мама говорит, что скоро поедем в Италию. Смотрите, какая картошка. Сами чистить будем. Кухарки тоже нет у нас теперь. А папа был болен. Уже здоров. Не совсем, но почти здоров. До свидания. А-ха-ха...» И со смехом убежали. Сияло солнце, было холодно, но воздух был подмывающе-крепкий. И близнецам шел десятый год⁴⁸.

В доме квартировладельцев Третьего Товарищества, где я снимала небольшую квартирку, принадлежавшую сыну популяр-

ных в свое время врачей жены и мужа Добровольских, жил уже с поздней осени Е.Замятин с женой на одной площадке с Предкомбеда бывшим морским офицером Крымовым и с Виктором Павловичем Коломийцевым, переводчиком Гейне для «Всемирной литературы» и пропагандистом Вагнера. И зазвонили телефоны. Забили набат. Помочь Амфитеатрову. Кто мог, звонил Луначарскому, кто мог, звонил Горькому... Но в этих инстанциях отклик был слабый. «Ах, не до Амфитеатрова». Как раз над моей маленькой квартиркой пустовала одна большая, нелепая — из пяти комнат три были мансардные. Но дом еще неплохо отапливался, и горячая вода три раза в неделю доходила и до седьмого этажа. После недолгих переговоров и при сочувственном содействии имевших право голоса жильцов-квартировладельцев удалось переселить Амфитеатровых в эту квартиру, предназначенную, кажется, для какой-то студии ритмической гимнастики. Вещей Амфитеатровы привезли, вернее, принесли мало. Только рояль отстояли от покушений на него хозяина особняка, где жили и за который не платили. Опять — смех, пенье, топот четырех пар молодых ног. Рояль гудел с утра до вечера. Играл, и отлично играл, уже старший сын Данило, упражнялся радостно маленький Ромушка. Амфитеатров поправился, получил работу во «Всемирной литературе» — редакцию переводов с французского и итальянского⁴⁹. Занимали деньги, где только могли, о погашении долгов не сокрушаясь. Стал подрабатывать Данило: вечерами играл в рабочих клубах. Днем развозил по знакомым домам как-то добывавшийся им мед, благоухавший керосином, и керосин, который чадил и не горел.

Узнав, что у меня телефон, все члены семьи Амфитеатровых обрадовались этому чрезвычайно. И пошло. Больше всех говорил сам Амфитеатров и на темы самые серьезные, преимущественно с Горьким и его секретарем⁵⁰. Говорил по телефону Данило с новыми товарищами по рабочим клубам, говорила Иллария Владимировна, пониженным голосом вызывая какую-то Лауру и смущенно закрывая дверь комнаты, где стоял телефон.

Так же, как в очаровательном особняке в Аптекарском переулке, было у них и в этой полупустой квартире в седьмом этаже много смеха, шума, а там и многолюдно стало. Появились вместо исчезавших из столицы давних знакомых и друзей новые знакомые. Один из близнецов, изящный милый Максим, брал, не помню у кого, уроки игры на виолончели, другой, Ромушка — уроки игры на рояле и делал удивлявшие всех успехи. Учили даром, жили они с общего согласия жильцов в квартире, ими не оплачивавшейся. Девочка, большеглазая, плутоватая Сабина — портрет

живой своего отца — проявляла уже писательские наклонности. Дети издавали еженедельный журнал, в котором помещали стишки — плохие, обрывки музыкальных фраз — нотными знаками, карикатуры — неплохие. Сабина писала повесть о разбойниках, убийствах, похищениях, о говорящих куклах — белиберду, которую никто понять и не старался, и в каждом номере под последней строкой подписывала: «Будет продолжаться».

Я уехала из Петербурга через Псков и Ревель в июле 1920 года и уже осенью в Берлине узнала, что через Финляндию и при содействии генерала Маннергейма уехал из Петербурга с семьей и Амфитеатров⁵¹. Вскоре дошло до Берлина, что ему удалось продать президенту Чехословакии Масарику свою библиотеку⁵², да еще незначительную сумму денег получил от него же на воспитание детей. Прошло несколько месяцев — получаю от Амфитеатрова письмо с просьбой похлопотать в издательстве «Грани», к которому я была близка, чтобы ему как можно скорее выслали гонорар за какую-то книгу, проданную им издательству. Какую — не помню. В письме сообщал, что не сводит концов с концами, что обучение детей, о которых скоро заговорит весь мир, стоит больших денег, каких у него нет. А там — ошеломившая меня новость: приехала в Берлин девочка Сабина, оставшаяся почему-то в Петербурге. И — «не можете ли Вы ее приютить у себя хотя бы на несколько дней?» Просил меня об этом Кадашев, сын Амфитеатрова от первого брака, бездарный забулдыга, бездомный и нищенствовавший репортер⁵³. На второй день по получении этого письма встретила в редакции «Руля»⁵⁴ находившегося проездом в Берлине Василия Ивановича Немировича-Данченко⁵⁵ и узнала от него фантастическую повесть. С Амфитеатовым был он давно близок и в его личную семейную жизнь был посвящен.

Амфитеатровы, уезжая нелегальным путем из Петербурга, оставили Сабину у преданной им горничной Глаши, которая была замужем за вечно пьяным сапожником-сербом. Сапожник эту брошенную Амфитеатровыми девочку пожалел. Сабина не была дочерью Илларию Владимировны, а их итальянской горничной Лауры, которая поехала за ними в Россию, свою связь с Амфитеатовым должна была скрывать. Красивая, наглая, смелая, она, влюбившись в русского шофера, вышла за него замуж, оказалась умелой портнихой и своим заработком выручала нередко и Амфитеатровых. С нею-то и вела Амфитеатрова таинственные разговоры по телефону в моей квартире... Девочка не знала,

что Лаура ее мать, считала, что у нее две «мамочки» — одна мамочка Иллария Владимировна, другая мамочка Глаша, у которой и оставили ее Амфитеатровы, пообещав скоро приехать за нею. Никто за нею не приезжал. Сапожник под пьяную руку бил мамочку Глашу, и Сабина боялась его. В один поздний зимний вечер она исчезла, захватив с собою кусок хлеба и полтора рубля денег. Добралась до Белоострова, а там, перед приходом жандармов, приходивших проверять паспорта, меж двумя поездами в толпе проскользнула за барьер, вскочила в финляндский поезд, заявила, что потеряла билет и деньги, и что ей надо только до ближайшей станции, до Териок. В Териоках она отправилась прямо в полицейский участок, представилась: «Я дочь Амфитеатрова. Я убежала из России, где большевики хотели меня убить. Я вас прошу доставить меня в Гельсингфорс — генерал Маннергейм друг моего отца, он сделает для меня все, что нужно».

Нашлись в Териоках две-три сердобольные дамы — признали сходство девочки с отцом. Кто-то вызвался отвезти ее в Гельсингфорс, и действительно она отправлена была в Берлин к сводному брату Кадашеву, который должен был отправить ее в Италию⁵⁶. Кадашев был гол, как сокол. Но и тут нашлись люди-хлопотуны, пожалевшие оставленную, быть может, в семье нелюбимую девочку. Оказалась она — я вынуждена была приютить ее у себя на две недели — девчонкой отвратительной. Врала безбожно, хвастала своими талантами, каких у нее не было, бесстыдно. Трещала без умолку — и о политике, и об актерах, и об искусстве — несла ахинею⁵⁷. Но когда я перед отъездом спросила ее, что подарить ей на память, она жадно и страстно ответила: «Куклу, миленькая, пожалуйста, куклу и маленькую розовую для нее кроватку». Восторг ее при получении подарка был неподдельный. И это было самое искреннее проявление ее чувств за все дни ее пребывания у меня. Кроватка с куклой не уместилась в ее чемодане, и так она и вошла в вагон с куклой в розовой кроватке.

Рады ли были Амфитеатровы — особенно Иллария Владимировна — возвращению Сабины, сомнительно. Но что для меня было несомненно — это то, что Амфитеатров эту поразительно на него похожую девчонку искренне любил.

Но Сабине жизнь в деревне, в Сестри Леванто, была не по душе. Данило — старший сын — заканчивал свое учение в Римской консерватории, Максим — виолончелист — учился в Милане, и туда же решено было отправить и Ромушку. Ждали только денег. Сабина тем временем, никому ни слова не говоря, написала письмо президенту Масарику. Призналась ему, что не хочет быть итальянкой, а жаждет учиться в русской гимназии в Тржебове,

в Чехословакии, что отец сочувствует ее желанию, но не решается обращаться опять к президенту за помощью, но что она сумеет прилежанием и хорошим поведением отблагодарить президента за помощь... Письмо было неграмотно, наивно и тронуло президента. Ей прислана была виза и небольшая сумма денег. В канцелярии президента кое-кто удивился — почему девочка просит отвечать ей «до востребования», а кого-то умилило... разыгрывает взрослую. Но присланных денег Сабине оказалось мало. Судьба и тут помогла ей. Пришла наконец повестка о получении страстно ожидавшихся Ромушкой денег на поездку в Милан. Мальчик торопливо укладывался, кипел, горел от нетерпения. За деньгами послана была на далекую от их дома почту расторопная, бойкая Сабина.

Сабина пошла за деньгами, получила их и домой не вернулась. Лишь на третий день получено было от нее успокоительное известие: «Я в Праге. Не беспокойтесь обо мне».

Мальчик заболел воспалением мозга, и когда он выздоровел, его отвезли в Милан, но не в музыкальную школу, а в дом умалишенных, где он и скончался несколько лет спустя. Но еще до него скончался не одолевший это несчастье Амфитеатров⁵⁸. О нем стали уже забывать в литературном мире, и смерть его едва-едва задела внимание его когда-то многочисленных читателей.

Старший сын его Данило женился на дочери известного миланского издателя, давно принял итальянское подданство, упований, какие возлагал на него отец, не оправдал — мир о нем не «заговорил», но как дирижер и отчасти как композитор он все же некоторую известность завоевал. Во время оккупации я услышала однажды за обедом голос радиоспикера: «Сейчас болгарский композитор Данило Амфитеатров исполнит свою симфонию номер 3-й». Почему сын Амфитеатрова произведен был в болгаре, осталось для меня загадкой.

Незадолго до позорно-трагической гибели Муссолини я получила из того же Сестри Леванто письмо от ИллариИ Владимировны Амфитеатровой — письмо с такими дифирамбами Муссолини и итальянским фашистам послужить возобновлению нашего знакомства не могло⁵⁹. Знаю о ней, что, уже очень немолодая, она живет, доживает свой век там, где население привыкло к ней и где она обжилась.

Сабину из интерната гимназии в Тржебове скоро выгнали за плохое поведение. Знавшие Амфитеатрова русские люди устроили ее в другом закрытом учебном заведении, откуда она сама убежала. Вышла за кого-то замуж — разошлась — с кем-то сошлась... Дальше следы ее для нас затерялись.

О матери заботятся сыновья Данило и Максим. Оба давно забывшие русский язык, из России не только ушедшие, но давно и безвозвратно от России отошедшие. Жили-были.

Дядя Влас

Так называли его, за глаза, конечно, люди, близко стоявшие к нему, что не означало — близкие ему. Был он близок, дружески близок, насколько мне известно, лишь с Шалыпиным и с значительно старшим его годами Василием Ивановичем Немировичем-Данченко. При всей своей приветливости, радушии был, однако, Дорошевич сдержанный, несколько надменный человек, но никогда не переходил той черты надменности, за которой начинается уже глупость. И как мало было во внешнем его облике общего с некрасовским дядей Власом⁶⁰. Дорошевич Влас Михайлович, всегда с иголочки одетый, всегда точно вот-вот только что из-под душа, из рук искусного массажиста, артиста-парикмахера, английского портного... Всегда изысканно учтивый, и опять-таки никогда не давая своей выдрессированной учтивости переходить ту черту, за которой начинается слащавость, старомодность или манерность. О его происхождении никто никогда не писал. Сам он о своем прошлом, о своей юности, молодости никогда не говорил. Отца он как будто не знал, мать его, когда он вышел на арену журналистики, была еще в живых, что-то пописывала и неплохо переводила, и лишь из озорства или в отместку ей за что-то подписывал он свои газетные очерки в одной одесской газете «Сукин сын»⁶¹. Шалость была скверная, и вряд ли у кого хватило бы смелости ему о ней напомнить.

Не помню, где и когда я познакомилась с ним. В памяти сохранились две-три первых встречи с ним в Москве — в редакции «Русского Слова» и у меня в номере Лоскутной Гостиницы. В тот мой приезд в Москву жил в Лоскутной Гостинице и приехавший из деревни в Орловской губернии Бунин. И Бунин не любил Дорошевича, и Дорошевич недолюбливал Бунина. Оба уже были известны тогда. Но популярнее был Дорошевич, в Москву, в «Русское Слово» пришедший уже с не тяготившей его славой блестящего фельетониста⁶², создателя короткой фразы — литературного приема, которому столько дебютантов на газетном поприще тщетно пытались подражать. Бунин был тогда упоен своей начинавшейся литературной славой и как-то неестественно высокомерен. Дорошевич, казалось, к известности уже привык, как привыкают к полюбленному за уютность халату или к трубке — одной из многих, с которой приятно сидеть у камина. И свою осторожную,

выработавшуюся в нем за многие годы самооценку он никогда не проявлял в сколько-нибудь обидной людям форме. Она служила ему, скорее, некоей незримой оградой — от фамильярности, от назойливости людей, с которыми ему нежелательно было сближаться. Бунин, придя чуть ли не в первый раз в редакцию «Русского Слова», удивился тому, что Дорошевич не встретил его с той почтительностью, какой он ждал. Дорошевич тоже удивился — снисходительно-высокомерному тону, который взял Бунин, пришедший к нему, скорее, как проситель, с просьбой о помещении какого-то для него важного объявления. И Бунин говорил о Дорошевиче с озлоблением, Дорошевич о Бунине с добродушной насмешкой.

После этих двух встреч с Дорошевичем и с Буниным я долгие годы не встречала ни того, ни другого. Живя в Петербурге или за границей, я, конечно, была в курсе того, какими разными путями развевывалась жизнь этих писателей. Дошли и до меня повторявшиеся петербуржцами, москвичами, читателями русских газет по всем большим городам России слова Толстого, неизменно, будто бы, повторявшиеся им, когда он утром развевывал номер «Русского Слова»: «Ну, что-то скажет мне сегодня *мой* Дорошевич?» Толстой, как известно, пожелал и познакомиться с Дорошевичем⁶³. И Дорошевич при нем растерялся, лишился дара слова и для газеты, которую он возглавлял, это посещение Толстого не использовал. Боялся, вероятно, трафарета и боялся фальши. Мне эта его чуть ли не целомудренная осторожность раскрылась лишь много позднее, когда я уже в первые годы большевизма опять встретила с ним в Петербурге и когда он стал частым моим гостем...

Был он тогда женат на актрисе Ольге Николаевне Миткевич и ни о ней, ни о других женщинах, с которыми он был до нее близок, он никогда не говорил. Этот никакого так называемого нравственного воспитания не получивший человек, никогда и никем в вопросах морали не настаивавшийся, был джентльменом с головы до ног. Не только по внешности, по манерам, по одежде — в подлинном значении этого слова порядочный человек.

Так велик был соблазн узнать от него лично и хотя бы один намек услышать о писательнице Анне Мар, покончившей с собой, как известно было, из-за него⁶⁴. Даровитая, много обещавшая, только что познавшая радость театрального успеха — пьеса ее была принята для постановки в Александринском театре, — после нескольких встреч с Дорошевичем покончила с собою, завещав похоронить ее с портретом Дорошевича на груди⁶⁵. Но у меня застыли слова на устах. Я не успела даже произнести полностью

имя Анны Мар. И только мое смущение, и только дружеское расположение ко мне Дорошевича помешали прекращению нашего знакомства.

Не было у него уже тогда газеты, и не было уже у него крупных заработков. Никто — даже Амфитеатров — не получал таких гонораров, как Дорошевич в годы своего редакторства «Русского Слова» в Москве, да уже и раньше в Одессе. Он и об этом своем имущественном положении никогда не распространялся. Читал лекции — о Французской революции, о том, как Наполеон завязывал связи после революции с возвращавшейся во Францию знатью и учился сам и своих братьев и сестер заставлял учиться у французских графов, маркиз и виконтов хорошим манерам. Лекции его собирали полные залы. За какую тему он ни брался — слушатели в театральном ли, концертном зале или в частном доме за чайным столом получали неповторимое наслаждение.

Однажды он стал излагать моим гостям и мне, как надо варить рис и как варят его в разных странах, и мы слушали его целый час, как зачарованные. В другой раз рассказывал он, как огромного роста актер Тальма давал уроки декламации и величавомонаршьих поклонов небольшого роста и толстоватому Наполеону. Говорил, не повышая голоса, без лишних жестов, и получилось впечатление разработанного блестящего скетча. Был бы он, вероятно, превосходным актером, если бы посвятил себя сцене. В молодости играл, но только в любительских спектаклях. Связи с театром были у него старые, крепкие.

Неистощимый в остроумии, в оригинальных смелых парадоксах, бывал он в годы моих частых и последних встреч с ним грустен и порою удручен. И вряд ли томили его материальные заботы. Что-то другое.

Казалось иногда, он подводит итоги прожитым годам, растраченным силам, что-то переоценивает. На эти догадки навел меня один вечер — светлый петербургский майский вечер, когда ворвалась в окна музыка, звуки хоровой песни и крики «ура». Дорошевич оставил чашку чая, которую держал в руке, заслушался и вдруг с таким искренним скорбным вздохом сказал:

— Эх, было бы мне теперь двадцать лет... тоже, быть может, шагал бы вот, как те... а, быть может, с красным флагом... И тоже, верно, кричал бы «ура»...

В другой раз пришел он ко мне, когда у меня заседал президиум молодого тогда союза русских переводчиков⁶⁶. Дорошевич сидел в комнате, смежной с той, где мы «заседали», и перелистывал какую-то книгу. Когда мы, споря, пререкаясь — насчет того, регистрироваться ли нашему только возникавшему союзу пере-

водчиков или остаться независимой от власти организацией, — ни к какому решению не пришли, вышел к нам Дорошевич и, не смеясь и не высмеивая нас, так заразительно смешно, так сочно вышутил наш «парламент» и так тонко, не советуя и не внушая, но все же доказал, что надо регистрироваться... Не согласиться с ним нельзя было. Члены незарегистрированного союза не получили бы доступа ни в одно из государственных издательств. Частные уже почти все были упразднены. Члены союза не получали бы продовольственного пайка, полагавшегося всем приносившим какую-то общественную пользу организациям, — и союз все равно был бы закрыт.

Союз переводчиков в первые годы выполнял еще задачу, не входившую в его первоначальную программу: не допускал переводчиков, претендовавших на такое звание и не умевших переводить. Долго он этого идеального задания выполнять, однако, не мог. Включались в члены союза и переводчики, поддерживаемые связями в «сферах», — и в двадцатые годы, уже после отъезда многих квалифицированных переводчиков за границу, вышло в России множество переводных книг досаднейшей безграмотности. И только в тридцатые годы появился новый кадр (sic!) умелых переводчиков и переводчиц, и доходящие до нас за пределы России переводы последних лет уже безоговорочно талантливы и добросовестны.

Возвращаясь памятью к Дорошевичу. Он много путешествовал, но привлекали его не торные дороги. Ездил в Китай, а не на модные европейские курорты, ездил в Японию, в Египет, в Закаспийский край... Много писал о своих странствованиях и еще лучше, пожалуй, рассказывал. Его можно было слушать часами, и ни на мгновение не остывал интерес к его рассказам.

Известен его большой труд о Сахалине⁶⁷. Сколько драм, трагедий человеческих, сколько картин нижайшего человеческого падения зарисовано его пером, и сколько — как будто и не обличая вовсе — обличил он кривды и жестокости. Чехов-художник чего-то главного в Сахалине не уловил, и его книга в сравнении с книгой Дорошевича получилась какой-то анемичной, худосочной. Когда об этом зашла речь в присутствии Дорошевича, он с неподдельной досадой поспешил замять разговор, но вскользь объяснил неудачу Чехова, во-первых, его болезнью и еще тем, что для его мягкой гуманной души слишком большим испытанием был тогдашний Сахалин, «блюдом, не для всякого переваримым».

Может быть, из сознания своего превосходства над многими современными ему журналистами, в частности, фельетонистами, быть может, из равнодушия к «собратьям по перу» редко отзы-

вался он о ком-нибудь плохо. Несдержанным случалось ему бывать, лишь когда заходила в его присутствии речь о легкости, с которой он сам пишет. То, что казалось или было лестью, выводило его из себя. «Легкость, с какой я пишу... Кто может знать, как и сколько времени я писал свой "маленький фельетон" или свой еженедельный фельетон... Сел и написал, и получил большой гонорар. Надо быть идиотом для таких догадок. Я пишу свой фельетон целую неделю. Днем и ночью — и когда сижу за редакторским столом, и когда бреюсь, и когда принимаю ванну. Думаю, додумываю, меняю, добавляю, зачеркиваю, перечеркиваю. И только потому выходит у меня неплохо. Потому что я труженик, потому что я умею трудиться».

В конце 1919 года Дорошевич повез свою лекцию о Французской революции в Москву, в каких-то два-три больших провинциальных города, затем в Крым⁶⁸...

В один ненастный зимний вечер позвонила мне его жена, Ольга Николаевна Миткевич, с которой я не была знакома. После какого-то сбивчивого вступления о том, как ей приятна была дружба Власа Михайловича со мною, она спросила вдруг, не знаю ли я адреса Власа Михайловича. И после — я почувствовала это — такой тяжелой на телефонном расстоянии паузы: «Уехал и вот столько времени не пишет. Я подумала, быть может, вам, хотя бы из учтивости?» Но я ничего о нем не знала. И столько накопилось своего горя, своих забот — я мало думала о Дорошевиче⁶⁹.

Больше я ничего о Дорошевиче не слышала до того дня, когда уже в Берлине от Василия Ивановича Немировича-Данченко узнала, что его привезли из Крыма больным и поместили в больницу для душевнобольных под Петербургом.

Смерть его была отмечена одним-двумя некрологами — еще до его физической смерти: он еще был жив, когда многие за рубежом считали его умершим⁷⁰. Угас он, никого не узнавая, — да никто его в больнице и не навещал, — в 1922 году⁷¹.

Гейне из Мозыря

Так называл его, завистливо глумясь над ним, один из новременских журналистов. Но в этом глумлении, оказалось потом, была значительная доля верной оценки многоодаренного, умного и остроумного, в то же время романтичнее из русских фельетонистов — театральных критиков и обозревателей, Александра Рафаиловича Кугеля⁷² — он же и Ното novus, он же и Николай Негорев. Он не писал стихов, но в юморе, всегда остром, не всегда мягком, в его даре значение какого-нибудь политического события

или общественного скандала изложить в форме художественного скетча и, не выходя из границ намеченной темы, провести неопровержимую и поражающую смелой новизной аналогию с событиями далекого прошлого было много от гейневского скепсиса, от непоколебимой его уверенности, что так было, так есть и так будет...

Но скепсис уживался у Кугеля с страстностью, с каким-то оргиастическим жизнеощущением... Жить, жить, накапливая новые силы для жизни, и тратить их без расчета, без оглядки для новых и новых достижений, для неустанного творчества, одолевая все препятствия — и любить, любить, брать и давать счастье.

Не говорил он лишь из гордости, вероятно, какой трудный, какой тернистый путь пришлось ему проделать, чтобы из фельетониста дешевой уличной «Петербургской газетки» развернуться в журналиста, в театрального критика, оставившего в русском газетном и журнальном мире, как и в театральном, следы более яркие, нежели Амфитеатров и Дорошевич. А эти при жизни были не только удачливее, но и известнее.

В большую — во всяком случае не развеселую, не уличную — газету «Русь» пришел А.Р.Кугель уже известным критиком, уже как редактор им же издававшегося журнала «Театр и искусство» и как создатель театра «Кривое зеркало»⁷³. На каждой премьере актеры Александринского театра в Петербурге и других театров выглядывали в дырочке в театральном занавесе, сидит ли уже Кугель на своем рецензентском кресле. Его пышная, всегда растрепанная голова, его всегда небрежно завязанный галстук были центром актерского внимания, да и дирекции театра. Присутствие его в театре больше волновало, нежели появление высочайших особ в глубине обрамленной красными портьерами в золотых гербах ложи. Кугель и его журнал «Театр и искусство» решали судьбу пьесы, актера, актрисы — и не только драматических театров. Граф Витте в своих воспоминаниях рассказывает, как Николай II, однажды рассеянно слушавший его доклад, вдруг прервал его вопросом: «Скажите, Сергей Юльевич, вы знаете Кугеля?» Витте, опешив, ответил, что такого не знает. «Нельзя ему дать как-нибудь понять, что не надо так бранить Кшесинскую? Великому князю Сергею Михайловичу это очень неприятно». Бывшая возлюбленная Наследника Престола вскоре после его женитьбы на Гессен-Дармштадтской принцессе сошлась с кузеном молодого царя Сергеем Михайловичем⁷⁴.

Не было в России такого угла, более или менее культурного, куда не доходил бы слух о «Кривом зеркале», где не вошли бы в обиход фразы из знаменитой «Вампуки»⁷⁵. Не было в России даже

на окраинах страны такого городка, куда не заезжали бы столичные люди и где не было бы читателей «Театра и искусства». Но самого Кугеля, блестящего журналиста, великолепного оратора, знали мало. Да и уже в годы эмиграции, в Берлине и в Париже, сколько раз и от каких разных по интеллекту, по социальному положению людей приходилось слышать про «Вампуку» и «крылатые» словца из «Вампуки», но об авторе, об их создателе — так мало и так редко. Разве что от старых актеров, а их уже так мало осталось в живых...

В статье, подписанной Кугелем, напечатанной незадолго до его смерти и посвященной памяти известного русского актера Монахова, были такие строки: «Он родился в бедной пролетарской семье»⁷⁶. Статья эта датирована была не то 1924-м, не то 1925-м годом.

Нетрудно было представить себе, какие мысли бежали в голове Кугеля, когда он снабжал свою восторженную апологию свободного творчества такими штампованными паспортными отметками. Не думалось ли ему, что будет день, когда какой-нибудь неглупый советский хроникер будет выводить такой же штамп: «Он родился в бедной еврейской семье...»

А.Р.Кугель родился не в бедной, не в богатой семье казенного раввина⁷⁷ в местечке Мозырь Минской губернии и до последних своих дней чувствовал свою связь с еврейством и в то же время горячо любил Россию, русскую литературу и русский театр, и русского актера.

Незадолго до большевистского переворота на одном актерском съезде в Москве в программу дня поставлен был вопрос об актерах-евреях, лишенных права жительства в столице⁷⁸. Против евреев-артистов выступила знаменитая Стрепетова. «Глаза Стрепетовой, — вспоминал он в своем журнале «Театр и искусство», — были тяжелые, мрачные, и голос, при всей музыкальности, сверлящий и будоражащий. Она похожа была на раскольницу, на обитательницу заволжского скита. Что-то от изуверской хованщины, старой моленной протопопа Аввакума, от брынских лесов сказывалось в этой некрупной, кривобокой, столь необыкновенной женщине»⁷⁹.

Кугель слушал ее речь, старую зоологическую теорию национализма. Слушать было тягостно и страшно. «Все было совершенно просто, гладко, ясно, логически закончено. Я думал о том, — писал он позднее, — что если эта бушменская арифметика захватит толпу, а она может захватить, потому что ей придается характер патриотической заслуги, — я потеряю веру в русского актера, и с чем я тогда духовно останусь? И что-то росло в моей

груди, ширилось, стало огромным, глубоким, как море»⁸⁰. Кугель взошел на эстраду, едва умолкли аплодисменты, провожавшие Стрепетову, и заговорил... Стрепетова речью Кугеля была разбита. Зоологический национализм отскочил от существа актера, даже не ошарапав его.

Мы, жившие долгие годы в Петербурге, помним, какую позицию занял Кугель по отношению к Московскому Художественному театру⁸¹. Положение его было щекотливое. Против Московского Художественного театра оказались и Суворин со своими соратниками, ломавшие копыя за свой Малый театр⁸², на сцене которого шли антисемитские пьесы, вроде знаменитых «Контрабандистов»⁸³. Неслыханный в истории русского театра скандал, разыгравшийся на первом представлении этой гнусной и бездарной к тому же пьесы, характерен для оценки русской общественности тех лет — первых лет нашего века⁸⁴. О том, что скандал будет, говорили в Петербурге за несколько дней до спектакля. Полицией приняты были все меры для предупреждения или для пресечения скандала. Наряды жандармов с кобурами у поясов выстроены были вдоль всего здания театра и, тем не менее, скандал разыгрался в таких размерах, что, не решаясь все же открыть стрельбу по публике, полиция предоставила на волю судьбы и дирекцию, и актеров — участников этого спектакля. Известно было, что в организации скандала принимала ревностное участие и артистка Яворская вместе со своим мужем князем Барятинским⁸⁵, и она же на первой читке этой пьесы резко высказалась против постановки ее и пригрозила выйти из состава труппы, что и сделала.

Жена А.Р.Кугеля⁸⁶ не могла последовать примеру Яворской и вынуждена была оставаться в труппе суворинского театра. Вокруг Александра Рафаиловича создалась, помню, удручающая его пустота. Лучшие прогрессивные элементы русского общества, к которым строим всех своих общественных, политических и личных симпатий тяготел Кугель, сплотились вокруг «москвичей». Каждый приезд «москвичей» в Петербург был праздником русской общественности. Банкеты, на банкетах речи и тосты, в которых своеобразно сплетались славословие артисток и артистов Художественного театра с осуждениями правительственных мероприятий. Кугель стоял вне этих общественных групп, давно признавших его бесценный публицистический талант, и где рады были бы считать его «своим» — близким, и где он в силу своей нетерпимости в вопросах театрального творчества и в силу своей страстности оказался как бы чужим...

Уже в 1922-м году пришлось А.Р.Кугелю впервые встретиться лицом к лицу с Станиславским, с которым он до того времени

не был знаком. В Москве, на улице, у трамвайной остановки столкнулись и разговорились. На одном и другом лежали следы преждевременной усталости... Не было уже «Театра и искусства» — журнал закрыт был большевиками за «социальной бесполезностью», — и труппа Художественного театра покидала Москву — готовилась к поездке в Америку. «Всю жизнь, можно сказать, — писал Кугель в своих «Воспоминаниях» об этой встрече, — спорили, спорили и не понимали друг друга, а жизнь, история, вот как просто все обернула. Похоже, как если бы мы держали вертел на угольях и поворачивали и так, и этак, а дичи-то давно нет, все чисто, все обглодано»⁸⁷.

В 1917-м году в двух петербургских газетах стали появляться статьи, подписанные ничем и никому не говорившим именем Николай Негорев⁸⁸. Но читатели, даже не очень искушенные, скоро угадали автора блестящих, умных и остроумных статей. Так писать, с такой расточительностью разбрасывать ошеломительно-смелые парадоксы мог только Номо novus. «Николай Негорев» — заглавие и герой бездарного романа бездарного писателя Кущевского⁸⁹, имя которого, однако, попало в историю русской литературы. Почему? Очень просто: роман Кущевского попал почему-то в большую печать, под обложку либерально-радикального журнала «Отечественные Записки»⁹⁰. В выборе этого псевдонима писателем уже широко известным и уже на закате жизни была и горечь, и насмешливый вызов. Узнают? Узнали... Но большого удовлетворения это ему дать не могло.

В 1919-м году он был арестован⁹¹. Горький, к которому я по просьбе жены Кугеля артистки Холмской обратилась с просьбой о заступничестве, направил меня к Марье Федоровне Андреевой, тогда председательнице Театрального комитета. Марья Федоровна направила меня с своей запиской к какой-то важной правительственной персоне, фамилии которой я не могу вспомнить, помню лишь, что эта важная персона не приняла меня, а секретарша ее, выслушав меня, ответила: «В первый раз слышу эту фамилию. Кугель... А чем он так замечателен?»

К счастью, вечером того же дня вернулся в Петербург куда-то уезжавший Луначарский и, узнав об аресте Кугеля, поехал в тюрьму, извлек его оттуда и в своем автомобиле доставил домой.

Кугель, по доходившим до меня сведениям, долго колебался: эмигрировать? остаться в Петербурге? В 1925-м повез труппу «Кривого зеркала» в Варшаву, успеха, всегда и во всех городах России сопровождавшего спектакли «Кривого зеркала», в Варшаве не было⁹². Уже без труппы поехал он на несколько дней в Берлин, где виделся с Николаем М. Волковыским, с профессором

Ю. Айхенвальдом⁹³. Расспрашивал, приглядывался, советовался и, смущенный уже намечавшимся расколом в эмиграции и непрочно-стью заработков, вернулся в Петербург.

С 1927 года стал хворать. В конце сентября 1928 года пользовавшие его врачи посоветовали ему подвергнуться какой-то незначительной, по их заверениям, операции. 5 октября он бодро лег на операционный стол, с которого уже не встал⁹⁴. Скончался под ножом опытного и расположенного к нему хирурга... Похоронили его на Волковом кладбище, на писательских мостках — в близком соседстве с писателями, возглавлявшими самые прогрессивные русские издания, куда ему долгие годы доступа не было.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Русское богатство» — общественно-политический, научный и литературный журнал; издавался в Петербурге с 1876 до середины 1918. С начала 1890-х — орган либерального народничества.

² *Якубович* Петр Филиппович (1860-1911) — революционер-народник; поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. *Анненский Николай Федорович* (1843-1912) — публицист и общественный деятель. *Пешехонов* Алексей Васильевич (1867-1933) — публицист, политический деятель, один из основателей и лидеров партии народных социалистов. В 1917 — министр продовольствия Временного Правительства. В 1922 был выслан из России, в 1927 ему было возвращено советское гражданство. Служил в советском полпредстве в Риге. Умер 3 апреля 1933 в Риге, похоронен в Ленинграде. См. также главу IX «А.В.Пешехонов» в сб. «Политическая история России в партиях и лицах» (М.: «Терра», 1994. С.145-173). *Мякотин* Венедикт Александрович (1867-1937) — историк и публицист. С 1917 в эмиграции. Вместе с С.П.Мельгуновым и Е.А.Ляцким издавал историко-литературные сборники «На чужой стороне» (Берлин; Прага, 1923-1925). *Горнфельд Аркадий Георгиевич* (1867-1941) — литературовед, критик, переводчик. Статья «Муки слова» была опубликована в «Сборнике статей из "Русского богатства" за 1899» (С.73-110). В 1927 вышла книга «Муки слова» (М.; Л.), включающая эту статью.

³ *Кострова* (ур. Овцына) Лидия Валериановна (1861-1918) — секретарь редакции; сестрой Веры Фигнер не была.

⁴ В Америку // Русское богатство. 1903. №12. Отд. I. С.91-111. Рассказ вошел в первый сборник рассказов Даманской (Рассказы. М.: «Основа», 1908).

⁵ Неточность мемуаристики: Даманская вышла замуж в 1892, описываемые события относятся к 1903.

⁶ В эмиграции Даманская указывала 1885 как год рождения (см. Bibliography of Russian Emigre Literature 1918-1968 / Compiled by Liudmila A.

Foster. Vol.1. Boston, 1970. P.452-454; Dictionary of Russian Women Writers / Ed. Marina Ledkovsky, Charlotte Rosenthal, Mary Zirin. Westport, Connecticut; London, 1994. P.139-142; Raeff M. Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration. Oxford; New York; Toronto, 1990. P.222; русский перевод: Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 1919-1939. М., 1994. С.145; Булгаков В.Ф. Словарь русских зарубежных писателей. New York, 1993. С.45).

⁷ Обе рецензии были опубликованы в 1904 (Образование. Кн.3. Отдел журнальных заметок; Русская Мысль. №2. Отд. II. Журнальное обозрение). Кроме того, в «Русских Ведомостях» (1904, №8) была опубликована анонимная рецензия.

⁸ *Чернов Виктор Михайлович* (1873-1952) — один из организаторов и лидеров партии эсеров. С 1920 — в эмиграции.

⁹ «*Русь*» — либеральная газета, выходила в Петербурге с декабря 1903 по июль 1908, с перерывами и под разными названиями.

¹⁰ См.: Чернов В.М. *Перед бурей*. Нью-Йорк, 1953. Чернов писал о Даманской: «Удачно пробовала свои силы в политической публицистике, под псевдонимом А. Филиппова, А.Ф. Даманская, легко и живо воспринявшая идеи и настроения нашего редакционного кружка и под влиянием бурного времени очень литературно их излагавшая» (цит. по: Чернов В.М. *Перед бурей*. М., 1993. С.265).

¹¹ *Миролюбов Виктор Сергеевич* (1860-1939) — издательский деятель, с октября 1897 фактический редактор «*Журнала для всех*», демократического литературно-общественного и научного ежемесячника. В 1890-х Миролюбов выступал на сцене Большого театра под псевдонимом Милов.

¹² *Гусев-Оренбургский* (наст. фамилия Гусев) Сергей Иванович (1867-1963) — прозаик, публицист. С 1921 в эмиграции. *Скиталец* (наст. имя Степан Гаврилович Петров; 1869-1941) — прозаик, поэт. С 1921 по 1934 в эмиграции в Харбине, в 1934 вернулся в СССР.

¹³ В «*Журнале для всех*» было опубликовано стихотворение Даманской «*Призраки*» (1900. №3. С.287).

¹⁴ В письме от 28 января 1926 Даманская писала Миролюбову из Парижа: «Не Вы ли пробудили меня к литературе? И не Вашим ли строгим и подчас жестоким замечаниям и выговорам обязана я тем, что не бесследно пройдет моя жизнь в этом мире?» (ИРЛИ. Ф.185. Оп.1. Ед.хр.472. Л.25).

¹⁵ Перевод романа Г.Уэллса «Жена сэра Айзекса Хармана» печатался в «Русских Записках» (1916. №7-11). Отдельное издание вышло в Москве в 1917. Перевод романа Роллана «Сердце Франции» публиковался в «Ежемесячном журнале» (1916. №2-12), романа «Неопалимая купина» — в «Северных записках» (1916. №1-2, 4/5-7/8). Переводы романов «Ярмарочная площадь» и «В стороне от схватки» выходили отдельными изданиями (М.: «Прометей», 1916; Пг.: Изд. Пгр. Совета рабочих и красноармейских

депутатов, 1919). Впоследствии переводы романов из цикла «Жан Кристоф» вошли в десяти томное издание: Роллан Р. Жан Кристоф / С предисл. Ю. Айхенвальда. Т.1-10. [Пг.]: Петрогр. сов. р. и к. д., 1918-1923 (Т.1. Заря / Пер. А. Даманской. 1918; Т.3. Юность / Пер. А. Даманской и З. Журавской. 1920; Т.7. Сердце Франции / Пер. А. Даманской. 1918; Т.9. Неопалимая купина / Пер. А. Даманской. 1919).

¹⁶ Незадолго до отъезда из России Даманская писала Горнфельду: «Мне кажется теперь, что Вы, пожалуй, единственный вместе с вниманием давали мне сердца немного. Для меня это было очень много. /.../ Если вернусь, то в значительной степени будете виноваты Вы» (РНБ. Ф.211. Ед.хр.509. Письмо от 8 августа 1920).

¹⁷ 7 ноября 1910, в день смерти Толстого, Короленко был в Полтаве. См. его очерк «Умер» (Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 тт. Т.9. М., 1955. С.143).

¹⁸ *Маковский Сергей Константинович* (1877-1962) — художественный критик, поэт, издатель, мемуарист, в 1909-1917 редактор журнала «Аполлон». С 1918 в эмиграции. *Зноско-Боровский Евгений Александрович* (1884-1954) — критик, драматург, с 1906 шахматный мастер, с 1909 до осени 1912 секретарь журнала «Аполлон». С 1920 в эмиграции. *И. Анненский* умер в 1909, Л.Толстой в 1910. Даманская не могла встретить первого «*некоторое время спустя*» после смерти второго.

¹⁹ Цитата из стихотворения И. Анненского «Лунная ночь в исходе зимы» («Трилистник лунный»).

²⁰ *И. Анненский* скоропостижно скончался от паралича сердца на ступенях подъезда Царскосельского вокзала 30 ноября 1909. Похороны состоялись 4 декабря в Царском Селе. О смерти И. Анненского родные его узнали в тот же день; см.: Воспоминания В.И.Кривича (Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник 1981. Л., 1983. С.94-95).

²¹ Переводы Чернова были опубликованы отдельным изданием: Верхарн Э. Живая жизнь: Избранные стихотворения / Перевод с французского Виктора Чернова. Пг.: Тип. Издат. и Печатн. Дела «Кадима», 1919.

²² *Морозов Николай Александрович* (1854-1946) — революционер и ученый. Осужденный по «Процессу 20-ти», провел в Шлиссельбурге 21 год.

²³ *Вера Николаевна Фигнер* (1852-1942), провела в Шлиссельбурге 22 года, в 1906-1915 жила за границей.

²⁴ Имеется в виду кн.: Фигнер В.Н. Запечатленный труд. Воспоминания: В 2 тт. М., 1922. После 1917 Фигнер участвовала в работе Политического Красного Креста, который возглавляла Е.П.Пешкова. Подробно о деятельности Фигнер в 1920-1930 см.: Незапечатленный труд: Из архива Веры Фигнер / Публикация Я.В.Леонтьева и К.С. Юрьева // Звенья: Исторический альманах. Вып.2. М.; СПб., 1992. С.424-488.

²⁵ *Лопатин Герман Александрович* (1845-1918) — революционер, переводчик и публицист. В 1884-1905 — в заключении в Шлиссельбурге,

в 1908-1913 жил за границей, последние годы жизни провел в Доме литераторов на Карповке.

²⁶ *Засулич Вера Ивановна* (1849-1919) — участница революционного движения, публицист. 28 января 1878 в знак протеста против издевательств над политзаключенными (наказания розгами студента А.С.Боголюбова) стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф.Трепова и ранила его. Была оправдана судом присяжных под председательством А.Ф.Кони. Засулич не была знакома с Боголюбовым; однако, по «Воспоминаниям о деле Веры Засулич» Кони, «в высших сферах» существовало убеждение, что «она — несомненная любовница Боголюбова» (Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 тт. Т.2. М., 1966. С.69).

²⁷ *Савинкова Софья Александровна* (1855-1923) — писательница, мемуаристка. С 1920 в эмиграции. Некролог Даманской «С.А.Савинкова» был опубликован в берлинских «Днях» (1923. 8 апреля. №133. С.2).

²⁸ *Дейч Лев Григорьевич* (1855-1941) — публицист, мемуарист, деятель и историк революционного движения. Гражданский муж В.Засулич. Автор очерка-некролога о Засулич (Голос минувшего. 1919. №5/12. С.199-210), редактор шеститомного издания «Группа "Освобождение труда"»: Из архивов Г.В.Плеханова, В.И.Засулич и Л.Г.Дейча» (М., б.г.). *Аксельрод Павел Борисович* (1850-1928) — революционер, один из лидеров меньшевиков. Умер в эмиграции.

²⁹ Последние годы Веры Засулич описаны Даманской в статье «Кошки Веры Засулич» (Последние новости. 1932. 25 марта. №4020. С.3). Ср. также воспоминания Книжника-Ветрова: «Как давнишний обитатель Дома писателей, я был знаком с Верой Ивановной и раза три заходил к ней по делу на 1-2 минуты. В ее комнате меня поражал необыкновенный беспорядок. Жившая в соседней комнате С.А.Савинкова говорила мне, что Вера Ивановна не позволяет убирать у себя на столе, боясь, что прислуга перепутает ее бумаги, а сама она заняться уборкой не удосуживается» (Книжник-Ветров И.С. Записки восьмидесятилетнего. Ч.V. Октябрьская революция в Доме Писателей // РНБ. Архив Дома Плеханова. Ф.352. Ед.хр.195. Л.9-10).

³⁰ Засулич умерла 8 мая 1919 в доме сестер Мякотиных. Похоронена на Литераторских мостках Волкова кладбища.

³¹ О ликвидации корниловского выступления было объявлено 31 августа.

³² О сотрудничестве Даманской в эмигрантских изданиях см. вступительную статью.

³³ «*Современный мир*» — ежемесячный литературный, научный и политический журнал. См.: Сковцова Л.А. «Современный мир» // Русская литература и журналистика начала XX века: 1905-1917: Большевистские и общедемократические издания. М., 1984. С.118-161. *Иорданский Николай Иванович* (1876-1928) — журналист, публицист, общественный деятель.

³⁴ *Куприна-Иорданская* (урожд. Давыдова) *Мария Карловна* (1879-1965) — издательница, мемуаристка. В 1902-1907 жена А.И.Куприна.

³⁵ Рассказ «*Паломники*» Даманской был опубликован в №1 «Современного мира» за 1916 (С.33-53).

³⁶ После октября 1917 Иорданский жил в Финляндии, редактировал в Гельсингфорсе советскую газету «Путь». В 1922 выслан по распоряжению финских властей.

³⁷ Воспоминания Даманской о жизни в эмиграции готовятся к публикации в «Новом журнале».

³⁸ Впоследствии Даманская вспоминала о своем бегстве из России: «Для того, чтобы попасть из Петрограда в Псков, откуда я рассчитывала выполнить план бегства из России, нужна была командировка. Я получила ее от института имени А.И.Герцена, предложившего мне прочитать несколько лекций по иностранной литературе на летних курсах для народных учителей» (Даманская А.Ф. Карточные домики советского строительства. Указ. изд. С.13). Впервые история ухода из России рассказана Даманской в очерке «Этапы» — Народное дело (Ревель). 1920. 14 окт. №59. С.2-3.

³⁹ Даманская А.Ф. Советские поповичи // Грани. (Berlin), 1922. Публикаций в американском и швейцарских изданиях обнаружить не удалось.

⁴⁰ Даманская писала Горнфельду из Берлина: «Никуда не тянет, только в Россию, только домой» (РНБ. Ф.211. Ед.хр.508. Письмо от 16 апреля 1921).

⁴¹ *Амфитеатров* Александр Валентинович (псевдоним Old Gentleman и др., 1862-1938) — прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург. В 1904-1916 и с 1921 в эмиграции. Книга Даманской «*Стеклянная стена*» вышла в свет в петроградском издательстве «Жизнь и знание» в 1918. В сборник вошли рассказы «Стеклянная стена», «Шапка Мономаха», «Панна Теофилия», «Лик человеческий», «Паломники», «Пеструня». Рецензия В.Яковлева «Литературные наброски. (Женское творчество)» была опубликована в №3570 «Современного слова» от 6 июля 1918 (С.2). Отзыва Амфитеатрова о книге Даманской обнаружить не удалось. Второе издание книги вышло в 1921 в берлинском издательстве «С.Ефрон»; рецензия З.Ж[уравской] была опубликована в варшавской газете «За свободу» (1921. 5 ноября. №2. С.2).

⁴² В 1918 Даманской было 43 года; вряд ли Амфитеатров, у которого она в 1900-1902 сотрудничала в газете «Россия», мог считать Даманскую «молодой писательницей».

⁴³ Амфитеатрова (урожд. Соколова) Иллариya Владимировна (1875-после 1947) — вторая жена Амфитеатрова.

⁴⁴ Амфитеатров *Даниил* Александрович (1901-1983) — композитор и дирижер, в 1923 окончил римскую консерваторию «Santa Cecilia» по классу О.Респиги.

⁴⁵ «Аванти» («L'Avanti!» — «Вперед!») — орган итальянской социалистической партии. Начала выходить в 1896, в 1912-1914 газетой руководил Муссолини.

⁴⁶ Ср. письмо Амфитеатрова Горькому от 28 ноября 1919: «Пришлось прожить зиму в условиях ужасающей безработицы и — нисколько не стыжусь этого слова: нищеты /.../ Никакая работа не была возможна /.../ Оставалось жить самоедством, в чем и упражнялись — буквально — до последней вещи в доме. Все распродано и проедено» (Литературное наследство. Т.95: Горький и русская журналистика начала XX века. М., 1988. С.458).

⁴⁷ Вероятно, речь идет о газете «Русская воля».

⁴⁸ Близнецы Максим и Роман Амфитеатровы родились в 1907.

⁴⁹ Издательство «Всемирная литература» было организовано в августе 1918 по инициативе Горького. В Записке издательства «Всемирная литература» в Народный комиссариат просвещения от 16 июля 1919 Горький назвал Амфитеатрова одним из тех, кто принимает «деятельное участие» в работе издательства (Исторический архив. 1958. №2. С.78). В 1922 с участием Амфитеатрова издательством были выпущены книги: Лемонье К. Избранные сочинения / Пер. и прим. А.Н.Горлина. Под ред. А.В.Амфитеатрова. Пг.; М., 1922. Т.1-2; Гольдони К. Комедии / Пер. И.В. и А.В.Амфитеатровых. Прим. А.В.Амфитеатрова под ред. А.Л.Волынского. Пг.; М., 1922 и др.

⁵⁰ Ср. указ. письмо Амфитеатрова Горькому: «Телефона у меня давно уже нет, но рядом с нами живет Даманская, к которой можно вызвать меня или, если буду лежать, Илларию Владимировну» (Литературное наследство. Т.95. Указ. изд. С.460).

⁵¹ Амфитеатров с семьей бежал из России на лодке через Финский залив 23 августа 1921.

⁵² В 1923 правительство Чехословакии купило библиотеку Амфитеатрова, разрешив ему пользоваться частью своих книг для завершения уже начатых работ.

⁵³ Амфитеатров-Кадашев Владимир Александрович (1892-1942) — сын Амфитеатрова от первого брака, журналист, переводчик, историк литературы. До 1917 сотрудник газеты «Русское слово», в годы гражданской войны — газет Юга России («Донские ведомости», «Южный курьер» и др.). В эмиграции жил в Германии, печатался в газетах «Руль» и «Возрождение», журналах «Числа», «Иллюстрированная Россия», «Русское эхо». В 1930-1940-х сотрудничал в газете русских нацистов «Новое слово». Автор книги «Очерки истории русской литературы» (Прага: Славянское издательство, 1922), нескольких сборников статей и рассказов, а также дневника о событиях 1917 в Москве и Петербурге и о Белом движении (РГАЛИ. Ф.2279. Оп.1; публикации из этого текста, подготовленные С.В.Шумихиным, см.: Сегодня. 1994. 22 марта; Литературная газета. 1994. 20 июля. №29; Независимая газета. 1995. 31 октября. №110; Общая газета. 1995. 9-15 ноября. №45).

⁵⁴ «*Руль*» — ежедневная газета русской эмиграции, выходила в Берлине в 1920-1931 под ред. И.В.Гессена.

⁵⁵ *Немирович-Данченко Василий Иванович* (1844/45-1936) — прозаик и поэт. С 1922 в эмиграции. Почетный председатель пражского и почетный член белградского Союзов русских писателей и журналистов. Председатель Общеэмигрантского съезда русских писателей в Белграде (1928).

⁵⁶ Дочь Амфитеатрова Сабина бежала из России в конце мая 1923; в судьбе ее принял активное участие Александр Николаевич Фену (1873-?), бывший в 1920-х председателем Особого комитета по делам русских беженцев в Финляндии. 2 июня 1923 Фену писал Амфитеатрову:

Третьего дня вечером милая Сабина прибыла в Гельсингфорс. Я ранее предполагал поместить ее временно в наш приют для детей беженцев, но, познакомившись с Вашей милой дочуркой, вся семья категорически при полном моем к тому сочувствии восстала против этого предположения и просит Вашего разрешения оставить Сабину у нас. Вперед и категорично прошу Вас не поднимать материальных вопросов. Вы нас обидели бы этим. Сабина так сердечна, проста, прямодушна и благовоспитана, что кроме радости помочь ей — ничего нам доставить не может. Экипировать ее при моем широком знакомстве и кое-каких [нрзб.] — мы тоже можем, хоть и скромно, но без расходов для Вас. Таким образом все присылаемые Вами деньги пойдут исключительно на дорогу от Гельсингфорса до родного дома. Теперь будем ждать итальянскую визу, которую надо хлопотать в М[инистерст]ве иностр[анных] дел Италии, прося сообщить здешнему итальянскому представителю, г-ну Маиони, о неимении препятствий к визированию паспорта Сабины. Транзитные визы я устрою здесь. Встречное прошение об итальянской визе здесь я уже подал. Сабина выглядит здоровой, крепкой девочкой, очень смуглой, с короткими черными волосами. Развита она умственно не по годам, но чистоты детской души не утратила. Настроение ее бодрое, даже веселое. Она очень пытлива, всем интересуется, охотно читает. Она подкупает окружающих своею непосредственностью, милой, но не чрезмерной, приветливостью и ласковостью. Все перенесенное ею во время попыток к бегству задело ее как-то поверхностно. В рассказах своих она склонна к некоторому увлечению, и установить точно все ее пережитое нам еще не удалось. Но тут и речи быть не может об умышленном уклонении от истины. Ее, бедную, вероятно, и на границе, и в карантине, и при опросах большев[истские] следователи так много спрашивали, что она и сама сбилась. Поэтому мы подходим к этому с осторожностью.

(Amfiteatrov manuscripts // Manuscripts Department, Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana).

Обстоятельства бегства Сабины из Петрограда изложены в письме Ю.А.Григоркова Амфитеатрову от 12 июня 1923:

О своем бегстве она мне не могла толком рассказать. Я понял только, что ее, по-видимому, переправил в Финляндию какой-то следователь. Какой-то красноармеец на границе в нее стрелял (по-видимому, больше для проформы). Она ему показала нос... Рассказ ее довольно бессвязен.

(Там же. Тексты обоих писем предоставлены А.И.Добкиным).

Григорков Юрий Александрович (1885-?) — публицист, историк литературы, поэт. Один из руководителей литературно-художественного сообщества «Светлица» в Гельсингфорсе. Редактор газеты «Новая русская жизнь» (1919-1922).

⁵⁷ Ср. с отзывом Фену в примеч. 56.

⁵⁸ Амфитеатров умер 26 февраля 1938 в Леванто.

⁵⁹ Об отношении Амфитеатровых к итальянскому фашизму см.: Амфитеатров и Савинков: Переписка 1923-1924. Указ. изд. С.73-158.

⁶⁰ Персонаж стихотворения Н.А.Некрасова «Влас» (1855). *Дорошевич Влас Михайлович* (1865-1922) — журналист, театральный и художественный критик, прозаик. «Дядя Влас» — один из псевдонимов Дорошевича.

⁶¹ Речь идет об «Одесском листке», крупной провинциальной газете либерального направления, сотрудником которой Дорошевич являлся в 1893-1899. Псевдоним «Сукин сын» не зарегистрирован у Масанова; возможно, имеется в виду псевдоним «Сын своей матери», которым Дорошевич подписывал свои корреспонденции в «Развлечении» (1887-1889) и «Московском листке» (1890). Мать Дорошевича, журналистка и писательница С.А.Соколова, происходившая из богатого дворянского рода, порвала со своей средой, сойдясь с человеком «низкого» происхождения. Отец Дорошевича С.Соколов занимался мелкой литературной работой, вел богомный образ жизни, рано умер. Спасаясь от преследований полиции, мать оставила полугодовалого ребенка и бежала за границу; ребенка усыновил коллежский секретарь М.И.Дорошевич. Спустя 10 лет Соколова через суд добилась возвращения сына. Положение «незаконнорожденного» нашло отражение в ряде очерков Дорошевича, посвященных детям («О незаконных и законных, но несчастных детях», «Право отца» и др.).

⁶² С 1902 по май 1917 Дорошевич — фактический редактор московской газеты «Русское слово»; до 1902 сотрудничал в московских изданиях «Московский листок», «Волна» (в №8 за 1884 опубликован первый рассказ из театрального быта за подписью «Дядя Влас»), в «Нижегородской почте», «Одесском листке»; с 1899 наряду с Амфитеатровым являлся ведущим сотрудником петербургской либеральной газеты «Россия».

⁶³ Об отношении Толстого к Дорошевичу см. дневниковые записи П.А.Сергеенко от 6 и 12 декабря 1899 (Толстой о литературе и искусстве: Записи В.Г.Черткова и П.А.Сергеенко // Литературное наследство. Т.37/38: Л.Н.Толстой. II. М., 1939. С.542, 543).

⁶⁴ Об Анне Мар и обстоятельствах ее смерти см. биографический очерк А.М.Грачевой в наст. изд.

⁶⁵ Это утверждение представляется сомнительным, однако прямых опровержений обнаружить не удалось. Пьеса Анны Мар «Когда тонут корабли» (1915) в 1917 была принята к постановке не в Александринском, а московском Малом театре.

⁶⁶ Даманская являлась членом Всероссийского общества профессиональных литераторов-переводчиков.

⁶⁷ В 1897 Дорошевич отправился на Сахалин на пароходе с партией каторжников. Итогом поездки стали сахалинские очерки, публиковавшиеся в 1897-1898 в «Одесском листке», затем в «России» и «Русском слове» и вышедшие в 1903 в Москве отдельным изданием под заглавием «Сахалин» (Ч.1-2).

⁶⁸ По просьбе московского профсоюза журналистов Дорошевич выступал с лекцией о журналистах эпохи Великой французской революции в мае 1918 в театре Незлобина. Во второй половине того же года выехал для лечения в Крым, жил в Севастополе, где также выступал с лекциями и чтением своих восточных сказок.

⁶⁹ Зимой 1919/1920 умер единственный сын Даманской Борис.

⁷⁰ Ошибочных некрологов в зарубежных газетах обнаружить не удалось; в «Вестнике литературы» (1920. №10. С.12-13) за полтора года до кончины Дорошевича был опубликован некролог за подписью А.Кауфмана. В упоминавшемся Т.37/38 «Литературного наследства» (см. примеч. 63) год смерти Дорошевича также указан неверно (1920).

⁷¹ Дорошевич умер 22 февраля 1922 в Петрограде, похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

⁷² *Кугель Александр (Авраам) Рафаилович* (псевдонимы Ното повус, Николай Негорев, 1864-1928) — театральный критик, публицист, журналист, мемуарист.

⁷³ «*Театр и искусство*» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге-Петрограде с января 1897 по октябрь 1918; издательницей журнала значилась гражданская жена Кугеля З.В.Холмская. «*Кривое зеркало*» — театр «малых форм», возник по инициативе Холмской при Петербургском театральном клубе в 1908. С 1910 — постоянный театр, дававший ежевечерние спектакли. В 1918 закрыт, в 1922 возобновил свою деятельность. Сезон 1923/24 играл в Москве, с 1925 до 1931 — в Ленинграде.

⁷⁴ Ср. воспоминания Кугеля об описываемом эпизоде:

В одной иностранной газете, после смерти Витте, с его слов, был напечатан рассказ о том (в мемуары его этот анекдот не вошел), как однажды, во время высочайшего доклада, Николай II, выслушав все соображения Витте о новых мероприятиях в области тарифной и финансовой политики, устремил в отдале-

ние загадочный взор, что у него всегда служило признаком какой-то мучительной нерешительности, и наконец после долгой паузы молвил:

— Сергей Юльевич, знаете ли вы Кугеля?

Сергей Юльевич ответил, что не знает, но может узнать, потому что для истинного слуги отечества и верноподданного нет ничего невозможного. Тогда Николай II, смущенно поглаживая усы, сказал:

— Не могли бы вы устроить, чтобы он не бранил так Матильду Феликсовну [Кшесинскую]? Сергей Михайлович очень нервничает, что в своем журнале Кугель ее бранит.

Кугель А.Р. (Номо повус). Листья с дерева. Л.: «Время», 1926. С.45.

Кшесинская Матильда Феликсовна (1872-1971) — балерина Мариинского театра в 1890-1917. С 1902 жена двоюродного брата Николая II, великого князя Андрея Владимировича. С 1920 в эмиграции. *Сергей Михайлович* (1869-1918) — пятый сын великого князя Михаила Николаевича. Убит большевиками в числе других родственников царской семьи близ Алапаевска.

⁷⁵ Автором театральной пародии «*Вампука*, невеста африканская» был М.Н.Волконский, а не А.Р.Кугель.

⁷⁶ Ошибка мемуаристики: приведенная строка является цитатой из статьи Кугеля «Н.Ф.Монахов», вошедшей в книгу «Профили театра» (М.: «Театинопечать», 1929. С.159). Кроме указанной, Кугелю принадлежат еще две статьи о Монахове: На юбилее Н.Ф.Монахова // Красная газета. 1926. 19 марта; Актер // Дела и дни Большого Драматического Театра. Сб. №2: Н.Ф.Монахов: К 30-летию артистической деятельности. Л.: «Academia», 1926. С.55-58. Обе статьи посвящены 30-летию артистической деятельности Монахова. *Монахов* Николай Федорович (1875-1936) — актер театра и кино, народный артист РСФСР (1932); принимал участие в создании Большого драматического театра в Петрограде.

⁷⁷ Рафаил Михайлович Кугель (ум. в 1905) — общественный раввин в Мозыре, устроитель первой городской типографии.

⁷⁸ Вероятно, речь идет о Втором съезде сценических деятелей (1901).

⁷⁹ *Стрепетова* Пелагея Антипьевна (1850-1903) — актриса. Цит. из: Кугель А.Р. (Номо повус). Листья с дерева. Указ. изд. С.119-121.

⁸⁰ Неточная цитата. Ср.: «Все было совершенно гладко, ясно, просто, логически закончено. Чем меньше другим, тем больше нам» (Там же. С.121).

⁸¹ О своем отношении к МХТ Кугель писал: «В той позиции, которую я занял по отношению к Московскому Художественному театру, было, несомненно, одно очень неприятное и щекотливое обстоятельство: я был очень несчастлив в союзниках. Поневоле я оказывался в одних рядах с такими сомнительными театральными теоретиками и независимыми

умами, как Суворин и К°, преследовавшими прежде всего коммерческую цель — утверждение своего театра» (Там же. С.131).

⁸² Суворин Алексей Сергеевич (1834-1912) — публицист, театральный критик, писатель, издатель газеты «Новое время» (с 1876), журнала «Исторический вестник» (с 1880), справочников «Вся Россия», «Весь Петербург». Создатель Петербургского Малого (Суворинского) театра (1895).

⁸³ Под названием «*Контрабандисты*» в суворинском театре была поставлена пьеса В.Крылова и С.Литвин-Эфрон «Сыны Израиля». Премьера состоялась 23 ноября 1900.

⁸⁴ Премьера спектакля была сорвана учащейся молодежью; в день премьеры было арестовано около 500 студентов (Новое время. 1900. 24 ноября. №8889). См. также воспоминания Кугеля о премьере (Кугель А.Р. Указ. изд. С.53-63).

⁸⁵ Яворская (урожд. Гюббенет, по мужу Барятинская) Лидия Борисовна (1871-1921) — в 1895-1900 актриса театра Суворина. В 1901 открыла в Петербурге «Новый театр», в котором ставились пьесы Горького, Чехова, Толстого; значительную часть репертуара составляли пьесы мужа Яворской кн. В.В.Барятинского. С 1918 в эмиграции.

⁸⁶ Холмская (наст. фамилия Тимофеева) Зинаида Васильевна (1866-1936) — актриса, антрепренер, издатель. Оставила сцену в 1930. См. также примеч. 73.

⁸⁷ Неточная цитата. Ср. у Кугеля: «Я имел случай познакомиться с Константином Сергеевичем Станиславским сравнительно недавно, в 1921 или 1922 году, незадолго до отъезда Художественного театра в Америку. Произошло это на улице, в Москве, на трамвайной остановке... Печать преждевременной меланхолии лежала, мне казалось, на нас обоих. "Ну что?", казалось, спрашивал он меня, и говорил я ему: "Ну вот..." "Всю жизнь, можно сказать, спорили и не понимали, а жизнь-то, история, вон как просто все обернула. И журнала-то нет, и театр уезжает, и вообще, не похоже ли это, т.е. продолжение прошлых недоразумений, на то, как если бы мы держали вертел на угольях костра и поворачивали бы его и так, и этак, а дичи-то давно уже нет, все чисто, все обглодано?"» (Кугель А.Р. Указ. изд. С.137).

⁸⁸ Ошибка мемуаристики: псевдонимом Николай Негорев Кугель пользовался уже в первые годы существования «Театра и искусства». См. «Историческую справку» о журнале: «Часто появлявшаяся на страницах журнала, в первые годы, подпись Николай Негорев был псевдоним, под которым писал сам А.Р.Кугель, Дымов, Ярцев и др. Одно время в редакции висело неизвестно кому принадлежавшее пальто, которое прозвали "пальто Николая Негорева", потому что им пользовались все сотрудники и служащие конторы» (ИРЛИ. Ф.686. Оп.1. №27. Л.3-4). Осип Дымов (наст. имя и фамилия Иосиф Исидорович Перельман, 1878-1959) — прозаик, драматург, журналист. С 1913 в Америке, с 1926 гражданин США. Ярцев П.П. — сотрудник редакции «Театра и искусства».

⁸⁹ *Куцевский* Иван Афанасьевич (1847-1876) — прозаик, критик, фельетонист. Роман «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1870) одобрили Н.А. Некрасов и М.Е. Салтыков-Щедрин; А.Г. Горнфельд признавал его «для своего времени выдающимся явлением» (Горнфельд А.Г. Забытый писатель // Русское богатство. 1895. №12. Отд. II. С.145).

⁹⁰ Роман печатался в №1-4 «Отечественных записок» за 1871.

⁹¹ Сведений об аресте Кугеля обнаружить не удалось.

⁹² Кугель писал о варшавских гастролях: «В бытность театра "Кривое зеркало" в Варшаве в 1925 году антрепренеры, выписавшие коллектив нашего театра на гастроли /.../ не уплатили причитавшихся к ним сумм. Положение создалось трагическое, так как, вследствие травли белоэмигрантской печати, мы во всей Польше не могли найти помещения для спектаклей» (Кугель А.Р. Варшавские гастроли // ИРЛИ. Ф.686. Оп.1. Ед.хр.56. Л.1).

⁹³ *Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872-1928) — литературный критик. В 1922 выслан из России. Жил в Берлине. *Волков* Николай Моисеевич (1881- после 1940) — литератор. В 1922 выслан из России.

⁹⁴ Кугель умер 5 октября 1928 от рака толстой кишки (Свидетельство о смерти // ИРЛИ. Ф.686. Оп.3. Ед.хр.21).